Волчья десятина



Егор Ралович

Егор Ралович

Волчья десятина

«Автор»
2026

Ралович Е.

Волчья десятина / Е. Ралович — «Автор», 2026

Двести лет назад жители Заосинья заключили договор с Волчьей Матерью, хозяйкой Глухоборья: волки держат рубеж против Сухоты, которая выпивает из живого влагу, память и голос, а люди платят десятину. Каждого десятого ребёнка, дожившего до седьмой зимы, в первый снег отводят к Волчьему камню. Отданных не оплакивают и не называют по имени.В этом году десятник зачитывает зарубки на счётной палке, и десятым оказывается Велько, семилетний сын красильщицы Зоряны. Двадцать лет назад она уже потеряла так брата. Зоряна не верит счёту, но её держат, пока сына уводят в лес.Тогда она уходит за ним сама, туда, откуда не возвращаются. Нельзя называть своё имя, нельзя есть то, что дал лес, нельзя оглядываться на чужой голос. По её следу идёт охотник, которому велено вернуть её живой или не вернуть вовсе. А в лесу Зоряну ждёт правда о том, во что превращаются отданные дети, и о том, кто на самом деле ведёт счёт.

© Ралович Е., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Первый снег 5
Глава 2. Счёт 11
Глава 3. Ночь Десятины 17
Глава 4. Пустой дом 23
Глава 5. Сборы 29
Глава 6. Опушка 34
Глава 7. Голоса 40
Глава 8. Ведьмина гать 45
Глава 9. Рассказ старухи 50
Глава 10. Охотник 55
Конец ознакомительного фрагмента. 58

Егор Ралович
Волчья десятина

Глава 1. Первый снег

Снег пошёл на рассвете, и Зоряна поняла это раньше, чем открыла глаза.

В избе стало тихо по-особенному. Не так, как бывает ночью, когда спит сын и потрескивает печь, а так, будто кто-то большой лёг на крышу и прижал её мягкой лапой. Даже ветер в трубе замолчал. Даже ручей за огородом, который всю осень бормотал без умолку, теперь говорил шёпотом.

Она полежала ещё немного, глядя в потолок, где сохли пучки зверобоя и пижмы. Потом осторожно повернула голову. Велько спал на печи, свесив одну руку, и пальцы его чуть шевелились во сне, словно он и там что-то пересчитывал.

– Первый снег, – сказала Зоряна вслух и сама удивилась, как сипло вышло.

В Ивнягах первый снег не любили. Его ждали так, как ждут лекаря к умирающему: знают, что придёт, знают, что не поможет, а всё равно метут перед ним двор. Через три дня после первого снега наступала Ночь Десятины, и до неё в деревне не играли свадеб, не резали скотину, не пели за прялкой. Даже собак держали на цепи, чтобы не лаяли в сторону леса.

Зоряна встала, накинула на плечи старую овчину и босиком вышла в сени. Дверь подалась туго, за ночь её припорошило. Двор лежал белый и ровный, без единого следа, и над ним висело низкое небо, серое, как застиранный холст. Плетень, колодезный журавль, крыша соседской бани, кривая рябина у калитки – всё стало чужим и новым, будто за ночь кто-то вылепил деревню заново из сырого теста и забыл раскрасить.

А за деревней, за огородами и за выгоном, стоял лес.

Глухоборье не было белым. Снег не держался на нём, соскальзывал с тёмных еловых лап, и лес чернел над Ивнягами сплошной стеной, ровной, как обрез ножа. Из деревни не было видно ни одной тропы, ни одного просвета. Люди говорили, что в Глухоборье можно войти только в одну сторону.

Зоряна постояла, глядя на эту стену, и сама не заметила, как сжала у горла края овчины. Потом сплюнула через левое плечо, как учила мать, и вернулась в избу.

Печь надо было растопить, пока Велько не проснулся. Она наломала лучины, подула на угли, и огонь нехотя зашевелился, облизал бересту. Изба наполнилась горьковатым дымом и запахом вчерашней коры, которая отмокала в кадке у порога. Ольховая кора даёт рыжий цвет, дубовая – бурый, а если в отвар ольхи положить ржавый гвоздь, пряжа выйдет чёрной, как вороново крыло. Зоряна знала это так же, как знала собственное дыхание. Руки её никогда не отмывались до конца: под ногтями жила охра, в трещинах ладоней – синь от черники, на запястьях – желтоватые пятна луковой шелухи. Покойный муж смеялся, что она вся как осенний лист.

Белогор умер три года назад, весной, когда ломался лёд на Осинке. Пошёл вытаскивать чужую корову и не вышел сам. Его искали два дня и нашли у мельничной запруды, тихого, с открытыми глазами. С тех пор Зоряна красила пряжу на продажу, ткала понемногу, носила полотно в Торжок на ярмарку и жила. Жить было можно. Не сытно, но можно.

– Мам.

Она обернулась. Велько сидел на печи, взлохмаченный, с отпечатком рукава на щеке, и смотрел в окно.

– Мам, там снег.

– Вижу, ягодка.

– Белый, – сказал он с удовольствием, как будто сам его придумал. – Можно я выйду?

– Сначала поешь.

– А потом?

– А потом посмотрим.

Он вздохнул, слез с печи и пошлёпал к лавке, где под тряпицей лежали его сокровища. Зоряна знала, что он сейчас сделает, и не ошиблась: Велько сдёрнул тряпицу и начал считать перья.

Перья он собирал с прошлого лета. Сначала просто приносил домой всё, что находил: голубиные, куриные, серые утиные из-под ивы. Потом стал разбирать. Сорочьи – отдельно, они длинные, с зелёным отливом. Вороньи – отдельно. Самое дорогое было одно, рыже-полосатое, с белым кончиком. Велько уверял, что оно совиное, и спал с ним под подушкой.

– Сорок одно, – сказал он. – Сорок два. Сорок три. Мам, а сколько у птицы перьев?

– Много.

– Сколько много?

– Не знаю, Велько. Никто не считал.

– Я посчитаю, – сказал он серьёзно. – Когда поймаю.

– Ты сначала кашу посчитай.

Он засмеялся и стал есть, но одно перо, то самое, совиное, не выпустил из левой руки, так и ел одной правой, роняя на стол крупинки. Зоряна смотрела на него и думала о том, что ему в эту зиму исполнилось семь.

Седьмая зима.

Она отогнала эту мысль, как отгоняют осу от лица: резко, не глядя. Сколько детей в Ивнягах дожили до седьмой зимы в этот год? Зоряна знала: двенадцать. Шесть девочек, шесть мальчиков. Она считала их с весны, сама того не желая, как считают трещины на потолке во время бессонницы. Знала, что Селиван начнёт счёт не с них, а с прошлогоднего остатка, что зарубки на его палке идут непрерывно из года в год, от самого первого отданного. Знала, что прошлой зимой счёт остановился на шестой зарубке, а значит, в этот год десятым будет четвёртый ребёнок по порядку. А порядок шёл по дворам, от Волчьего камня вдоль улицы к мельнице.

Её двор стоял седьмым от камня. Перед ним было три двора с детьми седьмой зимы: Тишка Гончаров, близнецы Корниловы, которых считали за одного, если они родились в один час, и маленькая Маланья, дочь вдового мельника. Нет. Маланья жила у мельницы, на другом конце. Значит, перед ней Тишка, близнецы, Груня Сафронова…

Зоряна поймала себя на том, что шевелит губами, и стиснула зубы.

– Мам, ты чего?

– Ничего. Ешь.

– Ты считаешь, – сказал Велько. – Я вижу. Ты всегда так считаешь, когда пряжу меряешь.

– Пряжу меряю, – соврала она. – Сколько мотков к ярмарке.

Он кивнул и, кажется, поверил.

Днём снег перестал, но небо не прояснилось. Зоряна вынесла во двор котёл, развела под ним огонь в яме, обложенной камнями, и поставила варить кору. Работа успокаивала. Надо было следить, чтобы отвар не закипал ключом, иначе цвет выйдет мутный, надо было вовремя снять пену, вовремя опустить мотки, поворачивать их длинной палкой, чтобы прокрасились ровно. Пар поднимался над котлом и таял в сером воздухе, пахло мокрой шерстью и лесом.

Велько носился по двору, оставляя на снегу петляющие следы. Потом нашёл где-то сухую ветку и стал рисовать ею птиц. Птицы получались кривые, с огромными крыльями.

– Это сова, – объяснил он. – А это её дети. Раз, два, три, четыре…

– А это кто, большой?

– Это не птица, – сказал он и пожал плечами. – Это волк. Он их стережёт.

Зоряна выпрямилась над котлом. Пар обжёг ей лицо.

– Кто тебе сказал, что волки стерегут?

– Никто. – Велько смутился. – Я сам. Он же большой. Большие всегда стерегут.

– Сотри.

– Мам…

– Сотри, я сказала.

Он посмотрел на неё испуганно и затоптал рисунок валенком. Сначала волка, потом, после короткой заминки, и сову с совятами. Зоряна отвернулась к котлу. Ей было стыдно, и от стыда стало ещё злее.

В Ивнягах волков не рисовали. Не вырезали на наличниках, не вышивали на полотенцах. Не говорили о них при детях и вообще старались не говорить слово «волк», заменяя его «серым», «лесным», «тем, кто за камнем». Это не было запретом, никто за это не наказывал. Просто так было заведено, и любая мать, услышав от ребёнка про волков, вздрагивала так же, как Зоряна сейчас.

– Хозяйка!

Она обернулась. У калитки стоял Селиван.

Десятник был стар, сколько Зоряна его помнила, и всегда одинаково: худой, длинный, в выцветшем армяке, подпоясанном лыком, с белой бородой, которая росла клочьями, как мох на камне. Глаза у него были светлые, водянистые, и он никогда не смотрел прямо, всё куда-то мимо, за плечо. В правой руке он держал палку.

Счётная палка была длиной в его рост. Тёмная, почти чёрная от времени и рук, гладкая там, где за неё брались, и вся в зарубках снизу доверху. Зарубки шли рядами, мелкие, частые, и каждая десятая была глубже других и обведена кругом. Зоряна видела её издали каждую зиму, но вблизи – никогда. Детей к Селивану не подпускали. Да они и сами не шли.

– Здравствуй, дедушка Селиван, – сказала она.

– Здравствуй, Зоряна Белогорова. – Голос у него был тихий, шелестящий. – Обхожу.

– Вижу.

– Мальчонка дома?

Велько стоял у сарая, прижавшись спиной к бревнам. Ветку он так и держал в руке.

– Дома, – сказала Зоряна.

– Сколько зим?

– Ты знаешь.

– Знаю. – Селиван кивнул. – А ты скажи. Так положено.

Она помолчала. Котёл за её спиной тихо булькал, и ей вдруг до боли захотелось, чтобы кора выкипела, пригорела, чтобы пряжа испортилась, чтобы случилось что угодно, лишь бы не говорить.

– Семь, – сказала она.

– Семь, – повторил Селиван и провёл ногтем по палке, не делая зарубки. Просто провёл, словно гладил. – Записал. Через три дня на сход. Чистую рубашку надень на него, хозяйка. Так положено.

– Я знаю, как положено.

– Знаешь, – согласился он. И вдруг посмотрел на неё. Прямо, впервые за всю её жизнь. Глаза у него были не водянистые, а очень усталые, с красными прожилками, будто он не спал много лет. – Знаешь, – повторил он тише. – Все знают.

Он постоял ещё мгновение, словно хотел что-то сказать, потом отвернулся и пошёл к следующему двору. Палка его оставляла на снегу ровные круглые ямки.

Зоряна смотрела ему вслед, пока он не скрылся за поворотом. Руки у неё дрожали. Она сунула их в рукава и стояла так, пока Велько не подошёл и не потянул её за подол.

– Мам. Это дедушка, который палку носит?

– Да.

– Он зачем приходил?

– Считать.

– Кого?

– Тебя.

Велько подумал.

– Меня легко посчитать, – сказал он. – Я один.

К вечеру пришла Рогнеда.

Она жила через двор, в избе с синими наличниками, которые когда-то сама и выкрасила Зоряниной краской. Рогнеда была старше на пять лет, высокая, широкая в кости, с громким смехом. Так было раньше. Три года назад её дочку, Ладушку, отдали в десятину. С тех пор Рогнеда не смеялась, и наличники её облупились, и никто их не подновлял.

Она вошла без стука, отряхнула с платка снег, села на лавку у двери. Велько уже спал. Зоряна молча налила ей горячего взвара из сушёной малины, и Рогнеда взяла кружку обеими руками, грея пальцы.

– Селиван был? – спросила она.

– Был.

– И у меня был. – Рогнеда усмехнулась криво. – Зачем ко мне ходит, не пойму. Детей у меня больше нет. А он ходит каждую зиму, стоит у калитки и смотрит. Я ему один раз сказала: иди, дедушка, нечего тебе тут считать. А он: мне положено каждый двор обойти. Каждый.

– Он сегодня на меня посмотрел, – сказала Зоряна.

– Как посмотрел?

– В глаза.

Рогнеда поставила кружку на лавку.

– Ты считала? – спросила она тихо.

Зоряна не ответила.

– Считала, – сказала Рогнеда. – Я вижу. Я тоже считала тогда. Все считают, кто в этот год седьмую зиму встречает. Каждую ночь считала, по дворам, по пальцам. И у меня выходило, что Ладушка восьмая. Восьмая, понимаешь? А потом Селиван вышел на сход и сказал: десятая. И все согласились. И я согласилась.

– Ты ошиблась, значит.

– Значит, ошиблась. – Рогнеда покрутила кружку в руках. – У Селивана палка. А у меня пальцы. Кто кого переспорит.

Они помолчали. В печи треснуло полено, и Зоряна вздрогнула.

– У меня выходит четвёртый двор с детьми седьмой зимы, – сказала она наконец. – Мой седьмой от камня. Перед ним Тишка, близнецы, Груня. Это три. Если близнецов считать за одного, то три. За двоих – четыре. Тогда… Тогда не мой.

– Близнецов Корниловых в один час принимали, – сказала Рогнеда. – Я сама бабке Агриппине воду носила. Их за одного посчитают.

– Значит, три. Значит, я четвёртая. – Зоряна облизнула пересохшие губы. – Если прошлый год кончился на шестой зарубке.

– На шестой, – подтвердила Рогнеда. – Я помню. На сходе Селиван зарубки резал, а я стояла рядом и считала. Шесть.

– Значит, Велько десятый.

Сказав это вслух, Зоряна почувствовала, как пол уходит из-под ног. Не так, как в сказках, а по-настоящему: изба качнулась, и ей пришлось ухватиться за край стола. Рогнеда вскочила, обняла её за плечи, усадила.

– Тише, тише. Тише ты. Может, и не так. Может, Тишка в этот год не седьмую встречает, а шестую. У Гончаровых он поздно родился, весной, в распутицу. Может, его в будущий год посчитают.

– Седьмую. Я помню, как ему имя нарекали, снег ещё лежал.

– Может, Груня…

– Рогнеда.

Рогнеда замолчала.

– Ты мне правду скажи, – Зоряна подняла на неё глаза. – Ты три года назад как отдавала? Сама вела?

– Сама.

– И не держала?

– Держала. – Рогнеда отвела взгляд. – Меня держали. Мужики держали, Радогост велел. Я кричала, а они держали. А Ладушка шла и оборачивалась. Она… Она не плакала, Зоряна. Она меня утешала. Говорила: мама, не плачь, я вернусь. Я ей обещала, что вернусь.

Голос у неё сломался, и она закрыла лицо ладонями, и плечи её затряслись беззвучно, по-деревенски, как плачут женщины, которым нельзя будить детей. Зоряна сидела рядом и гладила её по спине, и в голове у неё было пусто и звонко, как в пустом ведре.

– Не вернулась, – сказала она наконец.

– Не вернулась. Никто не возвращается.

– А если не отдавать?

Рогнеда отняла руки от лица. Глаза у неё были красные, мокрые, но в них проступило что-то похожее на страх.

– Не говори так.

– Почему?

– Потому что все говорили. Каждая мать в этой деревне так говорила. А потом отдавала. Знаешь, что бывает, если не отдать? Помнишь, бабки рассказывали про Сосновку?

Зоряна помнила. Сосновка стояла когда-то в трёх верстах по опушке, ниже по Осинке. Говорили, что там однажды не отдали ребёнка. Спрятали в погребе, а на сход вывели соседского подкидыша. Через месяц в Сосновке начали сохнуть колодцы. Потом сохнуть люди. Не болеть, не гореть в жару, а именно сохнуть: кожа у них становилась как береста, губы трескались, глаза мутнели, и они всё время просили пить, пили и не могли напиться. А потом переставали говорить. Последние, кто ушёл из Сосновки, рассказывали, что слышали по ночам в деревне шелест, будто ходит кто-то по сухой траве, хотя трава была под снегом.

От Сосновки остались одни печные трубы. Зоряна ходила туда однажды девчонкой, на спор. Трубы стояли среди бурьяна, и бурьян был серый, хрупкий, ломался от прикосновения, а между трубами было так тихо, что она слышала, как стучит её собственное сердце.

– Сказки, – сказала она.

– Ты сама там была.

– Была. И что? Выгорела деревня. Мало ли деревень горит.

– Не горела она, – сказала Рогнеда. – Ты сама знаешь, что не горела.

Зоряна знала.

Рогнеда ушла поздно. Перед уходом она долго стояла в сенях, кутаясь в платок, и наконец сказала:

– Ты его в Ночь не держи. Слышишь? Не держи за руку. Ладушку я держала до последнего, и её у меня из рук вырывали. Она видела, как мне больно. Это последнее, что она про меня видела. Пусть он лучше тебя спокойной помнит.

– Иди, Рогнеда.

– Обещай.

– Иди.

Дверь закрылась. Зоряна вернулась в избу и долго стояла над печью, глядя на спящего сына. Совиное перо выпало у него из пальцев и лежало на краю лежанки, и она подняла его, повертела в руках. Перо было лёгкое, тёплое от его руки, полосатое, рыжее с белым кончиком.

Она подумала: никакое оно не совиное. Ястребиное, наверное. Или от пустельги. Совиные перья мягче, они не шуршат в полёте, а это шуршало, если провести пальцем.

Она положила перо ему под подушку и тихо, чтобы не разбудить, коснулась губами его виска. Он пах дымом, молоком и снегом.

Потом она села к столу, зажгла лучину и стала считать.

Считала по дворам, от Волчьего камня до мельницы. Считала тех, кто встречает седьмую зиму, и тех, кто встречал её в прошлом году. Вспоминала, кого отдали в позапрошлый, и в год перед ним, и ещё раньше. Счёт шёл непрерывно, Селиван всегда так говорил: десятина не знает года, она знает только счёт. Если в какую-то зиму детей седьмой зимы было мало, десятого могло не набраться, и тогда никого не отдавали, а счёт переходил на будущий год. Бывало, что две зимы подряд никого не брали. А бывало, что в одну зиму брали двоих.

Она считала, загибая пальцы, водя ногтем по столешнице, где за годы выцарапались её собственные метки – сколько мотков, сколько локтей, сколько за полотно в Торжке дали. И каждый раз выходило одно и то же.

Десятый.

Тогда она начала считать с конца. С мельницы к камню. Так нельзя было, так никто не считал, но ей нужно было, чтобы вышло иначе. Хоть один раз. Хоть на одну зарубку.

Не вышло.

Лучина догорела и погасла, и Зоряна сидела в темноте, а за окном снова пошёл снег, тихий, медленный, и ложился на двор, на котёл с остывшей корой, на затоптанные следы волка и совы.

Где-то далеко, за выгоном, за огородами, в чёрной стене Глухоборья, кто-то завыл.

Один голос, низкий, долгий, а потом к нему присоединился второй, повыше. И третий. И ещё. Вой шёл волнами, то поднимался, то опадал, и в нём не было ни злобы, ни голода. Только тоска, такая древняя и такая огромная, что у Зоряны заломило в груди.

Велько заворочался на печи.

– Мам, – сказал он сонно. – Мам, они поют?

– Спи.

– Они поют, – повторил он с тихим удовольствием и снова заснул.

Зоряна сидела до рассвета. Вой стих перед зарёй, внезапно, будто кто-то его оборвал. И в тишине, которая наступила после, она поняла с той ясностью, какая приходит только после бессонной ночи, что не отдаст.

Ещё не знала как. Ещё не знала, что будет делать, когда за ней придут, куда побежит, кого попросит. Но знала, что не отдаст.

Это было не решение даже. Это было как цвет, который пряжа берёт из отвара: сначала его не видно, шерсть мокрая и тёмная, и только когда высохнет, становится ясно, какой вышла. Зоряна сидела в рассветной серости, и в ней высыхало то, что всю ночь отмокало в страхе. И выходило оно не рыжим и не бурым.

Чёрным, как вороново крыло.

Глава 2. Счёт

Сход собирали на третий день, в полдень, у Волчьего камня.

Камень стоял на самом краю выгона, там, где кончалась деревенская земля и начиналась ничья. Дальше было шагов сто нетронутого снега, а потом – лес. Камень был серый, ноздреватый, высотой в два человеческих роста, и формой напоминал присевшего зверя: широкая спина, опущенная голова, острые уши. Говорили, что основатели не тесали его, что он сам таким вырос из земли. На боку у камня темнела выбоина, гладкая, словно отполированная, и туда в Ночь Десятины клали руку отданного ребёнка, прежде чем отпустить его в лес.

Ивняги шли к камню молча. Это было тоже заведено: в день схода не здороваться, не окликать друг друга, не смеяться. Шли семьями, по дворам, и Зоряна видела, как идут Гончаровы, отец впереди, мать сзади, а между ними Тишка в новой белой рубашке под распахнутым тулупом. Видела Корниловых с близнецами, одинаковыми, круглолицыми, держащимися за руки. Видела Сафроновых и Груню, которая всё время спотыкалась, потому что смотрела не под ноги, а на лес.

Велько шёл рядом с ней. Он тоже был в белой рубашке, той, что Зоряна шила к этому дню всю осень, хотя тогда ещё не знала, зачем шьёт так тщательно. Ворот она вышила красной нитью, оберегом, какой вышивала когда-то её мать: ромб, в ромбе ещё ромб, а по краям – птичьи лапки. Велько сам попросил лапки.

– Мам, а мы зачем туда?

– На сход.

– А что там будет?

– Дедушка Селиван будет считать.

– Меня?

– Всех.

– А потом?

Она не ответила. Велько посмотрел на неё снизу вверх, и что-то в её лице заставило его замолчать и крепче взять её за руку. Пальцы у него были холодные.

У камня уже стояли. Мужики полукругом, бабы за ними, дети седьмой зимы – впереди, у самого камня, в ряд. Двенадцать белых рубашек на снегу. Зоряна подвела Велько и почувствовала, как он не хочет отпускать её руку.

– Иди, ягодка. Встань с ребятами.

– А ты?

– Я тут. Я за тобой. Видишь?

Он пошёл, оглядываясь, и встал между Груней и маленьким Мстишей Ершовым. Мстиша шмыгал носом. Велько что-то сказал ему, и тот перестал.

Радогост вышел к камню последним.

Он был грузный, но двигался легко, мягко, как ходят большие сытые коты. Шуба на нём была лисья, крытая синим сукном, шапка бобровая. Борода расчёсана надвое, и в ней поблёскивала седина, хотя лет ему было под шестьдесят. Лицо круглое, румяное, глаза маленькие, тёплые, смеющиеся. Радогоста в Ивнягах любили. Он одалживал зерно в голодный год и не требовал назад втрое, он мирил соседей, он сам ездил в Торжок к посаднику, когда тот хотел поднять подать, и уговорил оставить как было. Его отец был старостой, и дед, и прадед. Род Радогоста вёлся от самого Ивняга, основателя, который первым пришёл на эту опушку и первым заговорил с лесом.

Радогост встал у камня, снял шапку, и все сняли шапки вслед за ним.

– Люди, – сказал он негромко, но голос его разнёсся над выгоном. – Пришёл снег, пришла десятина. Так заведено отцами, так держится наш край. Лес стережёт нас, мы платим лесу. Не нами начато, не нами кончится. Селиван, считай.

Селиван выступил вперёд со своей палкой.

Зоряна никогда не видела, как он считает, вблизи. В прошлые зимы она стояла далеко, в задних рядах, ей нечего было бояться, и счёт доносился до неё глухо, как молитва в чужой избе. Теперь она стояла в третьем ряду, прямо за спиной у Гончаровых, и видела всё.

Селиван воткнул палку в снег у камня, снял с пояса нож. Нож был старый, короткий, с костяной рукоятью. Он нашёл на палке место, где кончались прошлогодние зарубки, и провёл по ним пальцем.

– Счёт идёт от первого года, – сказал он своим шелестящим голосом. – Десятина не знает зимы, она знает только счёт. Прошлая зима кончилась на шести. Слушайте.

Он подошёл к Тишке Гончарову, положил ему руку на голову.

– Семь.

И сделал на палке зарубку. Короткую, неглубокую. Тишка вздрогнул.

Селиван подошёл к близнецам. Положил руку сразу на обе головы.

– Восемь. Рождены в один час, одна душа на двоих.

Зарубка.

Груня Сафронова. Селиван положил ей руку на голову, и она пискнула.

– Девять.

Зарубка.

Селиван повернулся к Велько.

Зоряна видела, как всё это происходит, и не могла пошевелиться. Видела, как старческая рука, сухая, в коричневых пятнах, опускается на светлую макушку её сына. Видела, как Велько поднимает голову и смотрит на Селивана с любопытством, без страха, как смотрит на всё новое. Видела, как Селиван на мгновение замирает. Как его губы шевелятся, но звука нет.

– Десять, – сказал он.

И сделал глубокую зарубку, и обвёл её кругом.

Над выгоном прошёл вздох. Не громкий. Так вздыхает трава, когда по ней проходит ветер. Это выдохнули одиннадцать семей, чьи дети остались за чертой. Зоряна видела, как мать Тишки Гончарова закрыла лицо руками и как плечи её затряслись, теперь уже от облегчения, а отец обнял её и отвернулся, чтобы не смотреть на Зоряну.

Селиван продолжал.

– Один. Два. Три.

Он шёл дальше вдоль ряда, к Мстише, к Маланье, к остальным, и делал короткие зарубки, начиная новый счёт, но Зоряна его уже не слышала. Она смотрела на сына. Велько стоял неподвижно и трогал рукой макушку, там, где лежала ладонь десятника. Потом обернулся, нашёл её глазами в толпе и улыбнулся неуверенно, словно спрашивая: я правильно стоял? я всё хорошо сделал?

– Нет, – сказала Зоряна.

Она сказала это тихо, и сначала её никто не услышал. Селиван как раз доходил до конца ряда.

– Нет, – повторила она громче.

На неё стали оборачиваться.

– Это неправильный счёт.

Селиван остановился. Нож в его руке застыл над палкой.

Радогост повернулся к ней, медленно, всем телом.

– Зоряна, – сказал он ласково. – Зоряна Белогорова. Иди сюда, голубушка. Иди, не бойся.

Она пошла. Люди расступались перед ней, и никто не смотрел ей в глаза. Она дошла до камня и встала перед Радогостом, и он оказался выше её на голову.

– Что неправильно? – спросил он.

– Счёт. Прошлый год кончился на шести. Я знаю. Все знают. Но в позапрошлом году отдали Оленьку Ершову, и счёт тогда начался заново. А в позапрошлом году детей седьмой зимы было восемь. Восемь, Радогост. Я помню всех. Это значит, после Оленьки было семь, а не… Значит, в прошлом году счёт начался с семи. И в прошлом году было пять детей. Семь и пять – это двенадцать. Значит, в прошлом году должны были отдать десятого, а никого не отдали. А если отдали бы, то в этот год…

Она сбилась. Цифры путались у неё в голове, слова наползали друг на друга. Она знала, что считала правильно, ночами считала, на пальцах, на столешнице, но здесь, на холоде, под взглядами всей деревни, всё рассыпалось.

– В прошлом году было три ребёнка седьмой зимы, – сказал Радогост мягко. – Не пять. Три. Ты, верно, считаешь Маланью, мельникову дочку. Но Маланья тогда была на шестой зиме. И Корнилова Сенечку считаешь, а Сенечка помер летом, до снега. Помнишь? От горячки.

Зоряна помнила. Сенечка помер. Она его забыла посчитать как мёртвого, а может, наоборот, посчитала. Она уже не знала.

– А Оленька, – продолжал Радогост, – Оленька была три года назад, а не два. Два года назад отдали Ладушку Рогнедину. Ты путаешь, голубушка. Это от горя путают. Все путают. Я помню, как в свой год Рогнеда тоже говорила, что счёт неверен. Помнишь, Рогнеда?

Рогнеда стояла в толпе бледная, с закушенной губой.

– Помню, – сказала она глухо.

– И потом согласилась, что ошиблась.

– Согласилась.

Радогост кивнул, как будто это решало дело.

– Пусть Селиван пересчитает, – сказала Зоряна. – С начала. При всех. Пусть зачитает палку.

– Палку не зачитывают, – сказал Селиван.

Все повернулись к нему. Десятник стоял у камня, держа палку обеими руками, и смотрел куда-то вниз, в снег.

– Палка не для глаз, – продолжал он своим шелестом. – Палка для счёта. Её читает тот, кто ведёт. Двести лет её никто не читал, кроме десятника. Так заведено.

– Значит, ты прочти, – сказала Зоряна. – Вслух. При всех.

Селиван поднял на неё глаза. И опять, как три дня назад у калитки, она увидела в них то же самое: тяжёлую, бессонную усталость. И что-то ещё. Что-то, что могло быть мольбой.

– Не могу, – сказал он.

– Почему?

– Не положено.

– Кем не положено? Тобой? Им? – Она кивнула на Радогоста. – Лесом?

Над выгоном стало очень тихо.

– Зоряна, – сказал Радогост. Голос его по-прежнему был ласковым, но в нём появилось что-то новое, твёрдое, как камень под мхом. – Ты устала. Ты не спала. Я понимаю. Здесь каждый понимает. Каждая мать в этой деревне через это прошла или пройдёт. Моя мать прошла. Знаешь, что моего старшего брата отдали? Знаешь?

Она не знала. Она подняла на него глаза.

– Отдали, – кивнул Радогост. – Пятьдесят пять лет тому. Мне четыре было, ему седьмую зиму. Он был десятым, как твой Велько. Мать не держала его. Сама к камню вела. Потому что знала: если не отдать, Ивняги станут как Сосновка. Ты видела Сосновку?

– Видела.

– Тогда ты знаешь.

Он положил ей руку на плечо. Рука у него была тяжёлая и тёплая.

– Ночь Десятины завтра, – сказал он. – Иди домой. Побудь с ним. Испеки ему пирог с черёмухой, расскажи сказку. Пусть он запомнит тебя доброй. Это всё, что ты можешь сделать. Это много, Зоряна. Это очень много. Поверь мне.

Она хотела сказать: нет. Хотела закричать, ударить его, вырвать у Селивана палку и переломить её о колено. Но вместо этого вдруг увидела Велько. Он стоял в ряду белых рубашек, один, потому что другие дети отодвинулись от него. Не нарочно, не со зла, а просто так, как отодвигаются от того, кто заболел. Груня, Мстиша, близнецы, все они стояли теперь на шаг дальше. И Велько стоял один у Волчьего камня и смотрел на мать, и губы у него дрожали.

Она подошла к нему, присела, обняла.

– Мам, – сказал он ей в плечо. – Мам, я десятый?

– Ты мой, – сказала она.

– А десятый – это что?

– Ничего. Пойдём домой.

– Мам, а почему все отошли?

– Пойдём домой, ягодка.

Она подняла его на руки, хотя он был уже тяжёлый, и пошла через выгон, и люди расступались перед ней молча, как расступаются перед похоронной телегой. Никто не сказал ей ни слова. Только у самого края выгона кто-то тихо, почти неслышно, произнёс у неё за спиной:

– Прости, Зоряна.

Она не обернулась. Она не знала, кто это сказал, и ей было всё равно.

Дома Велько долго молчал. Сидел на лавке, перебирал свои перья, раскладывал их на кучки и снова смешивал. Зоряна стояла у печи и не знала, что делать руками. Наконец взяла муку, взяла сушёную черёмуху, которую берегла к весне, и стала месить тесто. Руки помнили, что делать, и это было хорошо, потому что голова не помнила ничего.

– Мам.

– Что, ягодка?

– Тишка сказал, что десятых волки едят.

Она остановилась.

– Когда сказал?

– Летом. Мы на речке были. Он сказал, что каждый десятый идёт к волкам, и они его едят. А я сказал, что он врёт. А он сказал, что не врёт, что ему отец говорил.

Тесто прилипло к её пальцам. Она смотрела на него и не могла поднять глаз на сына.

– Мам. Меня съедят?

– Нет.

– Правда?

– Правда.

Она сказала это, не думая, и вдруг поняла, что верит. Не знает – никто не знал, что бывает с отданными, – но верит. Вой, который она слышала ночью, не был воем голодных зверей. Голодные звери так не воют. Так воет тот, кто тоскует. Так выла бы она сама, если бы у неё отняли всё.

– А что тогда? – спросил Велько.

– Не знаю, – сказала она честно.

Он подумал.

– А ты придёшь за мной?

Она подняла голову. Велько смотрел на неё из-за стола, серьёзно, как смотрел, когда что-нибудь считал и боялся ошибиться.

– Приду, – сказала Зоряна.

– Обещаешь?

– Обещаю.

– Ладушка тоже обещала, что вернётся, – сказал он. – Я помню. Мне Рогнеда рассказывала, когда я маленький был. А она не вернулась.

– Ладушка обещала вернуться. А я обещаю прийти. Это разное.

– Почему?

– Потому что ей надо было найти дорогу назад одной. А мне надо найти тебя. А тебя я всегда найду. Ты же знаешь. Помнишь, как ты в прошлое лето в малиннике заблудился?

– Помню.

– И кто тебя нашёл?

– Ты.

– Ну вот.

Велько кивнул, но не улыбнулся. Он взял своё полосатое перо, рыжее, с белым кончиком, и долго вертел его в пальцах.

– Мам, – сказал он. – А если я тоже забуду дорогу? Ты меня по чему найдёшь?

Зоряна вытерла руки о передник. Подошла к нему, села рядом, взяла его ладошку и раскрыла. Ладошка была маленькая, тёплая, в чернильных пятнах от черники, которой он любил измазаться, помогая ей с красками.

– По рукам, – сказала она. – Видишь? У тебя руки, как у меня. В краске. Я тебя по краске найду. По запаху коры. Ты весь корой пахнешь, ягодка. Ольхой и дубом. Тебя за версту слышно.

Он понюхал свою ладонь и наконец засмеялся.

– Правда пахну.

– Правда.

Пирог она испекла к вечеру. Велько съел два куска, а третий завернул в тряпицу и положил рядом со своими перьями.

– Это я с собой возьму, – объяснил он. – Вдруг там есть нечего.

Зоряна вышла в сени и долго стояла там в темноте, прижавшись лбом к холодной стене, чтобы он не слышал, как она плачет.

Перед сном он попросил считалку. Ту, старую, которую пела ему Зоряна, когда он ещё не умел ходить, а она носила его на руках по избе, укачивая. Считалку пела ей мать, а матери – бабка, и никто не знал, откуда она взялась.

– Раз – ольха, два – дубок, – начала Зоряна, и голос её почти не дрогнул. – Три – рябиновый листок. Четыре – в печке уголёк, пять – у матушки клубок.

– Шесть – на нитке узелок, – подхватил Велько сонно.

– Семь – по снегу коготок. Восемь – ветер, девять – мох…

– Десять – кто домой пришёл, – закончил он и улыбнулся с закрытыми глазами. – Мам, а почему «кто домой пришёл»? Там же не складно.

– Не складно, – согласилась она. – Бабушка говорила, что так нарочно. Чтобы десятый всегда домой приходил.

– А я десятый.

– Значит, придёшь.

Он уже не слышал. Дышал ровно, приоткрыв рот, и перо лежало у него на груди, поднимаясь и опускаясь вместе с дыханием. Зоряна сидела рядом и шёпотом повторяла считалку, раз за разом, как заговор, пока слова не потеряли смысл и не стали просто звуком, просто стуком сердца: раз – ольха, два – дубок.

Ночью она снова считала. Теперь уже не дворы и не детей, а другое. Сколько у неё денег, вырученных на последней ярмарке. Сколько дней пути до Торжка. Сколько верст до соседнего края, где не платят десятины. Говорили, что за Торжком, за большой рекой, люди живут без

договоров с лесом, без Волчьих камней, без счётных палок. Говорили, что там волки – просто волки.

Можно было взять Велько и бежать. Прямо сейчас. Запрячь соседскую лошадь, Рогнеда бы дала, и гнать до рассвета, и дальше, и дальше.

Она уже встала, уже потянулась за тулупом, когда услышала за окном шаги.

Скрип снега, медленный, тяжёлый. Потом ещё одни шаги, с другой стороны избы. Она подошла к окну, приникла к щели в ставне. У её калитки стояли двое. Она узнала Твердяту-кузнеца по широким плечам и рыжей бороде. Второго не узнала, он стоял в тени. Они ничего не делали. Просто стояли и смотрели на её дом.

Сторожа.

Радогост поставил сторожей.

Зоряна вернулась к печи и села на лавку, и сидела так до утра, глядя на спящего сына, и не плакала больше. Внутри у неё всё высохло, как высыхает пряжа на морозе: твёрдая, ломкая, не согнёшь.

Утром пришёл Радогост и сказал, что Ночь Десятины будет сегодня.

Глава 3. Ночь Десятины

Радогост пришёл один. Сторожей у калитки уже не было, они ушли на рассвете, и снег у забора был истоптан их валенками.

Он постучал, хотя дверь была не заперта, и подождал, пока Зоряна откроет. Вошёл, снял шапку, перекрестил было лоб по старой привычке, которую принёс от торжокских купцов, но спохватился и вместо этого поклонился печи, как кланялись в Ивнягах. Сел на лавку у двери, на то самое место, где вчера сидела Рогнеда.

Велько ещё спал.

– Не буди, – сказал Радогост тихо. – Пусть поспит.

– Зачем пришёл?

– Сказать, как будет. Чтобы ты знала заранее. Это лучше, когда знаешь.

Зоряна стояла у печи, скрестив руки на груди. Она не предложила ему ни взвара, ни хлеба, и он, кажется, этого и не ждал.

– Когда стемнеет, – сказал Радогост, – вся деревня выйдет к камню с огнями. Ты приведёшь его. Сама, за руку. До камня поведёшь, а дальше – нет. У камня он положит руку в зверину метку. Ты скажешь ему: иди. И он пойдёт. Один. До опушки. Там его встретят.

– Кто?

– Серые.

– Ты их видел?

Радогост помолчал.

– Видел, – сказал он. – Каждую зиму вижу. Они выходят из-под деревьев, когда ребёнок подходит. Двое или трое. Не бросаются, не рычат. Подходят, обнюхивают. А потом ребёнок идёт с ними. Сам идёт, Зоряна. Никто его не тащит. Они идут рядом с ним, как собаки рядом с хозяином, и уходят в лес. И всё.

– А дальше?

– Дальше никто не знает.

– Ты знаешь.

Он поднял на неё свои маленькие тёплые глаза.

– Нет, – сказал он. – Не знаю. Клянусь тебе чем хочешь. Никто не знает. Ни я, ни отец мой, ни дед. Мы знаем только, что надо отдать. И что если не отдать – будет Сосновка.

– А если я его не поведу?

– Тогда поведу я.

– А если я не дам?

– Тогда тебя подержат. – Радогост вздохнул. – Я не хочу этого, голубушка. Никто не хочет. Ты думаешь, Твердяте радостно было ночью у твоих ворот мёрзнуть? Он у меня просил: не ставь, Радогост, не могу я. А я поставил. Потому что знаю, как бывает. Каждые три-четыре зимы какая-нибудь мать пытается бежать. Хватает ребёнка и бежит. Знаешь, куда они бегут?

Она не ответила.

– В Торжок, – сказал Радогост. – Все бегут в Торжок. Думают, там не достанет. А дорога на Торжок идёт вдоль опушки двадцать вёрст. И серые знают, кого им должны. Я один раз видел, что бывает. Давно, мальчишкой. Догнали на дороге. Мать не тронули, а мальчонку взяли. Только мать после этого… – Он замолчал. – Мать после этого пять лет не говорила. Ни слова. Сидела у окна и смотрела в лес. Потом ушла туда сама. Её не искали.

В избе стало тихо. Только Велько посапывал на печи.

– Поведи его сама, – сказал Радогост. – Я тебя прошу. Не как староста. Как человек. Отдай его спокойно. Пусть он не видит, как тебя держат. Это всё, что ты можешь.

Он встал, надел шапку и пошёл к двери. На пороге остановился.

– У моего брата, – сказал он, не оборачиваясь, – был деревянный конь. Мать вырезала. Он взял его с собой. Я каждую Ночь Десятины смотрю на опушку и думаю: может, увижу. Коня. Глупо, правда?

И ушёл, не дожидаясь ответа.

День тянулся бесконечно и прошёл в одно мгновение.

Зоряна потом не могла вспомнить, что она делала. Кажется, кормила Велько. Кажется, мыла ему голову тёплой водой с ромашкой и долго расчёсывала мокрые волосы, и он ворчал, что больно, а потом перестал ворчать и только сидел тихо, прислонившись к её коленям. Кажется, они вместе раскладывали его перья, и он объяснял ей, какое от какой птицы, а она кивала и не слышала ни слова. Кажется, она вышивала что-то на его рубашке, у самого подола, где не видно, и уколола палец, и кровь впиталась в красную нить и стала незаметна.

Она помнила только одно: как он спросил, можно ли взять перья.

– Все?

– Все нельзя? – Он огорчился. – Их много. Я понимаю. Тогда одно. Можно одно?

– Бери.

Он долго выбирал. Перебирал сорочьи, вороньи, утиные. Поднёс к глазам голубиное, серое с переливом. Отложил. Наконец взял то самое, полосатое, рыжее с белым кончиком, и сунул его за пазуху, под рубашку, к самому телу.

– Это совиное, – сказал он. – Совы ночью видят. Мне пригодится.

Зоряна не стала говорить, что перо не совиное.

Остальные он аккуратно сложил в берестяной туесок, закрыл крышкой и поставил на полку над лавкой.

– Ты их не выбрасывай, – попросил он. – Я вернусь и досчитаю.

– Не выброшу.

– И не перекладывай. Там по порядку.

– Не буду.

Он кивнул удовлетворённо, как кивает хозяин, закончивший важное дело.

После полудня она всё-таки попробовала.

Велько задремал на лавке, и она тихо оделась, тихо сняла с крюка старую котомку Белогора, сунула туда хлеб, соль, отцовский нож. Подошла к задней двери, той, что вела из сеней на огород. За огородом был овраг, по оврагу можно было выйти к Осинке, а по льду Осинки – куда угодно. Она подумала: если идти быстро, к темноте будем у старой мельницы в Сосновке. Там никто не станет искать. Туда никто не ходит.

Она приоткрыла дверь.

У плетня, на краю огорода, сидел на перевёрнутой колоде человек в волчьем треухе и строгал ножом палочку. Он поднял голову на скрип двери, и Зоряна узнала Дорофея. Он смотрел на неё спокойно, без злобы, без насмешки, и не встал.

– Не надо, Зоряна, – сказал он, не повышая голоса. – По оврагу снег по пояс. Ты с ним на руках и версты не пройдёшь. А по Осинке лёд ещё тонкий, у мельницы полыньи. Белогор твой там же лёг. Не надо.

– Это тебя Радогост посадил?

– Меня.

– И ты сел.

Дорофей помолчал, повертел в пальцах свою палочку. Это была свистулька, поняла Зоряна. Он вырезал свистульку.

– Сел, – сказал он. – Кто-то должен. Лучше я, чем Твердята. Твердята бы тебя сгрёб и в избу заволок, а мальца бы напугал. А я просто говорю: не надо. Иди к нему. Пока он спит, посиди рядом. Это время у тебя никто не отнимет.

Он снова опустил голову и стал строгать. Стружка падала на снег светлыми завитками.

Зоряна закрыла дверь. Повесила котомку обратно на крюк. Вернулась в избу и села рядом со спящим сыном, и сидела, пока он не проснулся. Когда вечером она уже одевала Велько, в сенях на лавке обнаружилась свистулька: маленькая, ольховая, в виде птички с раскрытым клювом. Кто и когда её туда положил, Зоряна не видела. Велько подул в неё, и свистулька запела тонко и чисто, как синица по весне. Он сунул её в карман, рядом с пирогом.

Стемнело рано. Зимой в Ивнягах темнеет к четырём часам, а в тот вечер, казалось, темнота пришла ещё раньше, выползла из Глухоборья и затопила деревню, как вода затопляет луг в половодье. Зоряна зажгла лучину, потом вторую. Потом поняла, что сидит и смотрит на огонь, а Велько смотрит на неё.

В дверь постучали.

– Пора, хозяйка, – сказал из-за двери голос Селивана.

Она одела Велько тепло: валенки, тулупчик, шапку с ушами, рукавицы на тесёмке. Он не сопротивлялся, только поднимал руки, когда надо было, и поворачивался. Под тулупчиком белела рубашка. Под рубашкой шуршало перо.

Пирог в тряпице он сунул в карман.

На улице было светло от огней. Вдоль всей улицы, от её двора до самого выгона, стояли люди с факелами и лучинами в глиняных плошках. Стояли молча, по обе стороны, и огни дрожали на ветру, и снег блестел. Это было бы красиво, подумала Зоряна, если бы это было что-нибудь другое. Свадьба. Праздник. Встреча князя.

Она взяла Велько за руку и пошла.

Люди не смотрели на них. Опускали глаза, отворачивались, кто-то крестился по-торжокски, кто-то шептал обереги. Зоряна шла и видела знакомые лица: вот бабка Агриппина, повитуха, которая принимала Велько, вот Твердята-кузнец, вот Гончаровы, и мать Тишки плачет навзрыд, не стесняясь. Вот Рогнеда. Рогнеда стояла у самого выгона, без факела, без платка, простоволосая, и смотрела на Зоряну, и губы её шевелились.

«Не держи», – прочитала Зоряна по губам.

Она сжала руку сына крепче.

Выгон был белый и пустой, только посередине, у камня, горел большой костёр. Возле костра стояли Радогост и Селиван. За ними, в отдалении, стояли мужики, человек десять, крепкие, молодые. Зоряна поняла, зачем они там, и ей стало холодно, холоднее, чем от зимнего ветра.

Они подошли к камню. Велько задрал голову, глядя на каменного зверя.

– Он как волк, – сказал он тихо.

– Да.

– А зачем у него дырка в боку?

– Это метка, – сказал Селиван. Он подошёл и встал рядом, опираясь на палку. – Туда руку кладут. Хочешь положить?

Велько посмотрел на мать. Зоряна не могла говорить.

– Не бойся, – сказал Селиван. – Она тёплая.

Велько стянул рукавицу, и она повисла на тесёмке. Протянул руку и осторожно, как кладут руку на спящую собаку, положил её в выбоину. Камень и правда был тёплый. Зоряна видела, как от него поднимается лёгкий пар, хотя мороз стоял крепкий.

– Ой, – сказал Велько. – Он дышит.

– Дышит, – согласился Селиван. – Он старый. Старше нас всех.

Велько подержал руку ещё немного, потом убрал и натянул рукавицу. Повернулся к Зоряне.

– Мам, а теперь что?

Зоряна посмотрела на лес. До опушки было шагов сто. Снег лежал ровно, нетронутый, и в отсветах костра казался розовым. А там, где кончался свет, начиналась темнота. Не та, что

бывает ночью в поле, прозрачная, со звёздами. Другая. Плотная, как стена, как ткань, натянутая между деревьями. И в этой темноте что-то было. Зоряна не видела, но чувствовала: там кто-то стоит и ждёт.

– Скажи ему, – тихо произнёс Радогост у неё за спиной. – Скажи: иди.

Она опустилась на колени в снег, лицом к сыну.

– Велько, – сказала она.

– Что?

– Я… – Голос у неё пропал. Она откашлялась. – Я тебя не отдаю. Слышишь? Ты не им. Ты мой. Ты понял?

– Понял.

– Скажи.

– Я твой.

– Зоряна, – сказал Радогост.

– Я тебя не отдаю, – повторила она громче. – Ты сейчас пойдёшь, потому что тебя заставляют. Но я тебя не отдаю. Это разное. Запомни. Я приду. Я обещала.

– Ты обещала, – кивнул Велько.

– Скажи ему: иди, – голос Радогоста стал жёстче. – Скажи, Зоряна, или скажу я.

Она встала. Посмотрела на Радогоста. Посмотрела на Селивана, который стоял, вцепившись в свою палку обеими руками так, что побелели костяшки. Посмотрела на лес.

– Нет, – сказала она.

И схватила Велько на руки.

Она не успела сделать и трёх шагов. Даже не знала, куда бежит: не к деревне, не к лесу, а куда-то вбок, по выгону, в темноту. Мужики оказались рядом сразу, как будто стояли не в отдалении, а за её спиной. Чьи-то руки схватили её за плечи, за локти, кто-то дёрнул за тулуп. Она закричала, и Велько закричал вместе с ней, и вцепился ей в шею, и она чувствовала, как его отрывают от неё, как разжимают её пальцы, по одному, и как его руки соскальзывают с её шеи.

– Мама!

– Пусти! Пусти, пусти!

Её повалили в снег. Кто-то навалился на спину, кто-то держал ноги. Она билась, кусалась, и в рот ей попал снег вперемешку с шерстью чужого рукава. Она видела сквозь слёзы и снег, как Твердята-кузнец несёт Велько обратно к камню. Велько бился у него в руках и кричал, и звал её, и шапка с ушами слетела у него с головы и упала в снег.

– Тихо, – сказал кто-то у неё над ухом. – Тихо, Зоряна, тихо. Не надо. Не надо, милая. Ему же хуже.

Это был Дорофей. Она узнала его голос, низкий и спокойный. Дорофей-охотник, который продавал ей беличьи шкурки на опушку для шапок. Он держал её за плечи, и держал крепко, но не больно. Почти бережно.

– Пусти, – прохрипела она.

– Не пущу. Смотри. Смотри на него, Зоряна. Он на тебя смотрит.

Она подняла голову.

Твердята поставил Велько на снег у камня. Радогост наклонился к мальчику, что-то говорил ему. Велько больше не кричал. Он стоял, тяжело дыша, и смотрел туда, где лежала мать, придавленная к земле тремя мужиками. Лицо его было мокрое, красное, а глаза – огромные, тёмные.

Потом Радогост выпрямился и сказал громко, на весь выгон:

– Иди.

Велько не пошёл.

Он стоял и смотрел на мать. И Зоряна вдруг поняла, что он ждёт. Ждёт от неё. Не от Радогоста, не от Селивана. От неё.

Она перестала биться.

Руки, державшие её, ослабли. Дорофей помог ей приподняться, встать на колени. Она стояла на коленях в истоптанном снегу, без платка, с растрёпанными волосами, и смотрела на сына.

Вспомнила, что говорила Рогнеда. «Пусть он лучше тебя спокойной помнит».

– Велько, – сказала она. Голос её был хриплый, сорванный, но он услышал. – Велько, иди. Я приду.

Он смотрел на неё ещё мгновение. Потом кивнул.

Повернулся к лесу.

И пошёл.

Он шёл по нетронутому снегу, маленький, без шапки, в тулупчике нараспашку, и белая рубашка светилась в отблесках костра. Шёл медленно, проваливаясь в снег по колено. Один раз остановился, полез за пазуху. Зоряна видела, как он достал что-то, поднял над головой. Перо. Он обернулся и помахал ей пером.

Она подняла руку и помахала в ответ.

Он пошёл дальше.

Когда до опушки оставалось шагов двадцать, из темноты вышли волки.

Их было трое. Они появились бесшумно, будто сгустились из самой темноты: только что не было, а вот стоят. Огромные, больше любой собаки, серые, с длинными мордами. Двое по бокам, один впереди. Тот, что впереди, был светлее остальных, почти белый, и стоял неподвижно, опустив голову.

Велько остановился.

Зоряна перестала дышать.

Белый волк сделал шаг. Ещё один. Подошёл к мальчику вплотную и опустил морду. Обнюхал его волосы. Плечо. Руку, в которой мальчик всё ещё держал перо. Велько стоял неподвижно. Потом медленно, очень медленно, поднял свободную руку и положил её волку на голову, между ушей.

Волк не шевельнулся.

Потом развернулся и пошёл к лесу. И Велько пошёл за ним. Двое других пристроились по бокам, как Радогост и говорил, как собаки рядом с хозяином. Четыре тени, одна маленькая и три больших, дошли до опушки, до той черты, где кончался свет.

У самой черты маленькая тень обернулась ещё раз.

А потом темнота сомкнулась, и их не стало.

Зоряна стояла на коленях в снегу и смотрела в лес. Вокруг неё кто-то говорил, кто-то плакал, кто-то тушил костёр. Радогост подходил, что-то говорил ей, клал руку на плечо. Селиван стоял у камня, и она видела краем глаза, как он режет на своей палке ещё одну зарубку, совсем маленькую, почти незаметную, у самого основания круга.

Она ничего этого не слышала.

Она слушала лес.

Лес молчал. Не было воя, не было шороха. Только ветер шевелил верхушки елей, и сыпался с них снег, и где-то очень далеко, на самой грани слуха, ей почудился тонкий детский голос:

«Раз – ольха, два – дубок…»

А может, ей просто почудилось.

Дорофей поднял её под руки и поставил на ноги. Она не сопротивлялась. Он отвёл её до края выгона, туда, где стояла Рогнеда, и передал ей, как передают ведро с водой: осторожно, чтобы не расплескать.

– Доведи её до дома, – сказал он Рогнеде. – И побудь с ней. Не оставляй одну эту ночь.

– Побуду.

Дорофей посмотрел на Зоряну. Лицо у него было тёмное, обветренное, с глубокими складками у рта, и глаза под нависшими бровями казались чёрными.

– Прости, – сказал он. – Если сможешь.

Она смотрела сквозь него.

Он постоял ещё мгновение, потом поднял что-то со снега и вложил ей в руки. Это была шапка Велько, та, с ушами, мокрая, в снегу.

Зоряна прижала её к лицу. Шапка пахла дымом, молоком и ольховой корой.

Тогда она закричала.

Глава 4. Пустой дом

Рубашку жгли на третий день.

Так было заведено: три дня после Ночи Десятины в доме отданного не топят печь, не варят горячего, не открывают ставен. Три дня дом стоит тёмный и холодный, как будто в нём покойник, хотя покойника нет. А на четвёртое утро приходят соседки, разводят во дворе костёр и сжигают ношеную одежду ребёнка. Рубашки, порты, онучи. Всё, что пахнет им. Чтобы лес не искал его по запаху в деревне. Чтобы он сам не нашёл дорогу назад.

Зоряна узнала об этом только теперь. Раньше, когда сжигали чужое, она не ходила смотреть. Сидела дома, красила пряжу, затыкала уши. Ей казалось, что это её не касается.

Три дня она пролежала на печи, на том месте, где спал Велько, и не вставала. Рогнеда приходила утром и вечером, приносила холодную кашу и воду, сидела рядом. Зоряна не ела. Пила иногда, когда Рогнеда подносила кружку к губам. Смотрела в потолок, на пучки зверобоя, и думала о том, что зверобой надо было снять ещё в листопад, он пересох и теперь годится только на растопку.

Думала о том, что Велько ушёл без шапки.

Шапка лежала рядом с ней на печи. Мокрая, она высохла и стала жёсткой, и запах из неё понемногу уходил. Зоряна прижимала её к лицу каждый час, проверяя, и каждый час ей казалось, что пахнет слабее.

На четвёртое утро пришли соседки.

Их было четверо: бабка Агриппина, Гончарова, Корнилова и Рогнеда. Гончарова не смотрела Зоряне в глаза. Корнилова принесла кринку молока и поставила на стол, молча, как кладут подношение на могилу. Бабка Агриппина, маленькая, сморщенная, похожая на сушёное яблоко, сразу пошла к сундуку.

– Где у тебя его одёжа, милая?

Зоряна не ответила.

– Ну, сама найду.

Агриппина открыла сундук и стала вынимать. Рубашонку синюю, будничную, с заплатой на локте. Порты холщовые, которые Велько протёр на коленках, ползая по двору. Рубаху праздничную, из которой он вырос прошлым летом, но Зоряна берегла. Онучи. Пояс плетёный, красный, который она сплела ему на шестые именины. Агриппина складывала всё это на лавку, аккуратной стопкой, и каждую вещь сначала встряхивала и разглаживала ладонью, как будто собиралась отдать в чистку, а не на огонь.

– Шапку дай, – сказала она, подходя к печи.

Зоряна прижала шапку к груди.

– Дай, милая. Надо.

– Нет.

– Зоряна, – тихо сказала Рогнеда. – Отдай.

– Нет.

Агриппина посмотрела на неё снизу вверх. У старухи были выцветшие, почти белые глаза, и в них не было ни жалости, ни осуждения. Только знание. Так смотрит повитуха на роженицу, которая кричит, что больше не может: знает, что может, и знает, что крик этот надо переждать.

– Шапку оставь, – сказала Агриппина неожиданно. – Пусть. Остальное сожжём.

– Бабушка, – начала Гончарова, – не положено…

– А ты молчи, – оборвала её старуха. – Твой-то дома сидит. Ты за своим погляди, чтобы не простыл. А я тут сорок лет рубашки жгу, я знаю, что положено, а что нет. Пусть оставит шапку.

Гончарова покраснела и отвернулась.

Костёр развели посреди двора, на том месте, где неделю назад стоял котёл с корой. Агриппина складывала вещи по одной, бормоча что-то себе под нос, какой-то старый заговор, в котором Зоряна разбирала только отдельные слова: «не ищи», «не ходи», «дорогу забудь». Огонь лизал синюю рубашонку, потом охватил её целиком. Порты горели плохо, тлели, дымили. Красный пояс вспыхнул и съёжился в чёрный жгут.

Зоряна стояла на крыльце в одной рубахе, босиком на ледяных досках, и смотрела. Рогнеда накинула ей на плечи тулуп. Она не заметила.

Дым поднимался над двором, серый, тяжёлый, и ветер тянул его в сторону леса. Прямо к Глухоборью, длинной косой полосой над огородами и выгоном. Зоряна смотрела, как дым уходит туда, и думала: он почует. Если там, в лесу, есть кто-то, кто помнит Велько, он почует этот дым. И поймёт, что дома его больше не ждут.

– Хватит, – сказала она.

Никто не услышал. Агриппина подкладывала в огонь последнее, праздничную рубаху.

– Хватит! – закричала Зоряна и бросилась с крыльца.

Рогнеда перехватила её на полпути, обхватила обеими руками. Зоряна вырывалась, но Рогнеда была сильнее, и держала крепко, и шептала ей в ухо: «Всё, всё, всё уже, всё, поздно», – и Зоряна обмякла у неё в руках и смотрела, как догорает рубаха, как чёрные лоскутья поднимаются над костром и улетают к лесу.

Соседки ушли, когда огонь погас. Агриппина задержалась у калитки, поманила Зоряну к себе. Зоряна подошла, сама не зная зачем.

– Ты в лес собралась, – сказала старуха. Не спросила, а сказала.

Зоряна промолчала.

– Вижу, что собралась. У тебя глаза такие. Я эти глаза видела. Один раз видела, давно. – Агриппина пожевала губами. – Не ходи. Это я тебе как повитуха говорю, которая твоего сына на руки приняла. Не ходи. Ничего там нет для тебя.

– Кто? – спросила Зоряна.

– Что кто?

– У кого ты видела такие глаза?

Агриппина помолчала.

– У Виданы, – сказала она наконец. – У Виданы Ершовой. Она за дочкой ушла. Сорок лет тому. Ну, может, тридцать восемь. Не вернулась.

– Её искали?

– Нет. В лес за отданными не ходят. И за матерями их тоже.

Старуха повернулась и пошла прочь, опираясь на клюку. Зоряна стояла у калитки, пока она не скрылась.

Вечером Рогнеда снова пришла. Принесла горшок горячих щей, первых за четыре дня, и заставила Зоряну съесть полную миску. Затопила печь. В избе потеплело, и запах сырой нежилой холодности, который стоял тут три дня, наконец отступил.

Зоряна сидела на лавке и смотрела на огонь.

– Агриппина сказала, ты в лес собралась, – сказала Рогнеда, садясь рядом.

– Она тебе сказала?

– Мне. И Гончаровой. А Гончарова уже, поди, Радогосту донесла.

– Пусть.

Рогнеда помолчала. Потом встала, подошла к двери, выглянула в сени, проверила, плотно ли закрыто, и вернулась. Села снова, близко, так что их плечи соприкоснулись.

– Я тебе скажу одну вещь, – произнесла она тихо. – Никому не говорила. Даже мужу, пока он жив был. Обещай, что никому.

– Обещаю.

– Я Ладушкину рубашку не сожгла.

Зоряна повернулась к ней.

– Одну, – продолжала Рогнеда торопливо. – Самую маленькую. Ту, в которой её крестили… нарекали, то есть. Она в ней была, когда ей годик исполнился. Я её спрятала, ещё до того. Знала, что придут жечь, и спрятала. За иконой… за божницей, у Торжокской Богоматери, мне её муж с ярмарки привёз, за ней тайник есть. Агриппина пришла, всё собрала, а эту не нашла. И я ей не сказала.

– Зачем?

– Не знаю. – Рогнеда сжала руки на коленях. – Не знаю, Зоряна. Я три года думаю: зачем? Это же глупо. Она не вернётся. А я каждый вечер достаю эту рубашонку и нюхаю. Она уже ничем не пахнет. Только сундуком. А я нюхаю. И думаю: если бы я её сожгла, Ладушка бы забыла дорогу. А раз не сожгла, может, помнит. Может, где-то там, в лесу, она идёт по запаху. Только идти не может. Или не пускают. Или…

Она замолчала.

– Или что? – спросила Зоряна.

– Или уже не хочет, – прошептала Рогнеда.

Огонь в печи потрескивал. За окном было темно, и опять шёл снег, мелкий, сухой, и шуршал по ставням, будто кто-то пробовал войти.

– Расскажи мне про ту ночь, – сказала Зоряна.

– Какую?

– Про Ладушкину. Всё расскажи. Что видела.

Рогнеда долго молчала. Потом заговорила, глядя в огонь, ровно, как читают по писаному.

– Её Селиван десятой назвал. Я стояла близко, вот как ты тогда. И я видела, как он на неё руку положил, а потом убрал. Убрал и посмотрел на Радогоста. Я тогда не поняла. Думала, так положено. А он посмотрел на Радогоста, и Радогост кивнул. Чуть-чуть, вот так. – Она едва заметно наклонила голову. – И тогда Селиван положил руку снова и сказал: десять.

У Зоряны похолодело внутри.

– Ты уверена?

– Нет. Не уверена. Я тогда была как ты. Ничего не видела, не слышала. Может, мне показалось. Может, это я потом себе придумала. Три года думаешь, и чего только не придумаешь.

– А дальше?

– Дальше Ночь. Я её вела. Сама. Радогост сказал: веди сама, легче будет, и я повела. Держала за руку до самого камня. Она руку в метку положила, сказала: тёплая. Твой тоже так сказал?

– Сказал.

– Все так говорят. – Рогнеда кивнула. – А потом я не отпустила. Держала. Она уже пошла, а я руку не отпускала. И тогда Твердята и ещё двое меня взяли. А она обернулась и сказала: мама, не плачь, я вернусь. И пошла. А навстречу ей вышли трое. Как к твоему. Один белый.

– Белый?

– Белый, светлый. Огромный. Он ещё на меня посмотрел. Ладушку обнюхал, а потом поднял голову и на меня посмотрел, через весь выгон. И у него глаза были… – Рогнеда запнулась. – Ты будешь смеяться.

– Не буду.

– Человеческие. У него были человеческие глаза. Серые. Как у моего отца.

Зоряна вспомнила белого волка, который подошёл к Велько. Вспомнила, как он стоял неподвижно, опустив голову, когда её сын положил руку ему на лоб. Глаз его она не видела. Было далеко, и слёзы, и снег.

– Я видела того же, – сказала она. – Белого.

– Я знаю. Он всегда выходит. Каждую зиму. Агриппина говорит, что он выходит уже лет двадцать. А до него выходил другой, рыжий. А до рыжего – чёрный.

– Откуда она знает?

– Она каждую зиму смотрит. Сорок лет смотрит. – Рогнеда горько улыбнулась. – Она тоже считает, Зоряна. Только не детей. Волков.

Они замолчали. Зоряна смотрела на огонь и думала.

Белый волк с человеческими глазами. Двадцать лет. Двадцать лет назад отдали её брата Люта. Ей было семь, ему девятую зиму… нет. Ему было семь, ей пять. Она плохо помнила ту ночь. Помнила, что мать не плакала. Мать вообще не плакала, ни тогда, ни потом. Просто через два года перестала вставать с постели и однажды утром не проснулась. А Лют… Лют был светловолосый. Совсем светлый, почти белый, как лён. Его в деревне звали Лунёк.

Нет. Глупо. Двадцать лет. Мало ли белых волков в лесу.

– Рогнеда, – сказала она. – Ты Видану помнишь?

– Ершову-то? Нет. Её уж не было, когда я родилась. Агриппина рассказывала. Она за дочкой ушла через пять лет. Пять лет сидела у окна, а потом ушла. Говорят, в ту ночь, когда ушла, волки выли до рассвета. А потом ещё три ночи. А потом перестали.

Пять лет у окна. Это была та самая мать, о которой рассказывал Радогост. Та, которую не искали.

– Почему она пять лет ждала?

– Не знаю. Может, боялась. Может, надеялась. Может, собиралась. – Рогнеда пожала плечами. – Я бы тоже, наверное, пять лет собиралась. Я и собираюсь. Три года уже.

Зоряна повернулась к ней.

– Пойдём со мной.

Рогнеда отшатнулась.

– Ты что?

– Пойдём. Вдвоём легче. Ты сильная, ты лес знаешь, ты по грибы до Ведьминой гати ходила, я помню. Пойдём. Найдём их. Твою и моего.

– Зоряна…

– Ладушка тебя ждёт. Ты сама сказала. Рубашку сберегла. Значит, ждёт.

Рогнеда смотрела на неё, и лицо у неё дрожало, как вода, в которую бросили камень. Зоряна видела, как в ней борется что-то огромное, страшное, древнее. Страх, который сидел в каждом жителе Ивняг с рождения, как сидит в костях ломота перед непогодой. И надежда, тонкая, как нитка, которую она три года не давала себе порвать.

– Не могу, – сказала Рогнеда наконец. Губы у неё побелели. – Не могу. У меня мать старая. Лежачая. Она без меня помрёт. И… и я боюсь. Я боюсь, Зоряна. Я пойду, найду её, а она меня не узнает. Или узнает и не пойдёт. Или её уже нет. Или… Я лучше буду думать, что она ждёт. Пусть так. Пусть хоть так.

Она опустила голову.

– Прости меня.

– Не за что, – сказала Зоряна, и это была правда. Она не сердилась. Не могла сердиться. Она понимала Рогнеду лучше, чем самоё себя.

– Ты всё равно пойдёшь?

– Пойду.

– Когда?

– Скоро.

– Радогост поставит сторожей.

– Знаю.

Рогнеда помолчала. Потом встала, накинула платок.

– Через два дня мою мать надо в баню вести, – сказала она, не оборачиваясь. – Я протоплю с вечера, жарко, на всю ночь. Баня у меня на задах, у самого оврага. От неё к выгону тропка

есть, вдоль плетня, её с улицы не видно. А сторожа у тебя у ворот стоят. Я им вечером горячего вынесу, браги. Твердята брагу любит.

Она пошла к двери.

– Рогнеда.

Рогнеда остановилась.

– Если найду, – сказала Зоряна, – скажу ей, что ты рубашку сберегла.

Рогнеда стояла в дверях спиной к ней, и плечи её поднялись и опустились.

– Скажи, – прошептала она. – Скажи, что я каждый вечер. Каждый.

И ушла.

Зоряна осталась одна. Посидела у печи, глядя, как догорают дрова. Потом встала, взяла лучину и подошла к полке над лавкой. Там стоял берестяной туесок с перьями.

Она сняла его, поставила на стол, открыла крышку. Перья лежали аккуратно, по порядку, как он их сложил: сорочьи, вороньи, утиные, голубиные, куриные. Она провела пальцами по краю, не трогая.

«Ты их не выбрасывай. Я вернусь и досчитаю».

– Не выброшу, – сказала она вслух.

Она закрыла туесок, поставила обратно на полку.

Потом, сама не зная зачем, она подошла к материному сундуку.

Сундук стоял в углу, под старой попоной, и Зоряна не открывала его с похорон. Там лежало то, что осталось от матери: две понёвы, праздничный кокошник с облезлым бисером, деревянный гребень, клубки выцветшей пряжи, которую мать не успела довязать. Зоряна перебирала вещи одну за другой, и на самом дне, под понёвами, пальцы её наткнулись на что-то твёрдое, завёрнутое в лоскут.

Это была маленькая липовая дощечка, не больше ладони. На ней было что-то вырезано, неумело, глубоко, как режут люди, непривычные к ножу. Зоряна поднесла дощечку к лучине.

Буквы. Мать не умела писать, Зоряна знала это точно. Но кто-то научил её вырезать одно слово. Одно короткое слово, и под ним – птичью лапку, какой вышивают обереги.

«Светозар».

Зоряна долго смотрела на это слово, и внутри у неё что-то медленно поворачивалось, как ключ в старом замке. В Ивнягах каждому ребёнку при рождении давали два имени. Одно – мирское, для всех, им звали, им ругали, им кликали с улицы ужинать. Другое – истинное. Его мать шептала младенцу в ухо в первую ночь, когда никого нет рядом, и больше никогда не произносила вслух. Истинное имя знали двое: мать и сам ребёнок, да и он забывал его, когда вырастал. Считалось, что это имя держит душу в теле. Что тот, кто знает твоё истинное имя, может позвать тебя откуда угодно.

Мирское имя брата было Лют. А это – это было его истинное. Мать вырезала его на дощечке, потому что боялась забыть. Двадцать лет назад. И спрятала на самом дне, под понёвами, чтобы никто не нашёл.

Зоряна вспомнила, как шептала в ухо новорождённому Велько, в ту первую ночь, когда Белогор уснул, а изба была тёмная и тихая. Помнила каждый звук. Она не забудет, ей не нужна дощечка.

Но она всё равно завернула дощечку в лоскут и сунула в карман передника.

Она взяла шапку Велько с печи, понюхала. Пахло слабо, едва-едва, но пахло. Корой. Дымом. Им.

Она положила шапку за пазуху, к самому телу, как он положил своё перо. И села к столу считать. Не дворы, не детей. Другое. Что взять. Сколько хлеба. Сколько соли. Какой нож.

На это ушла вся ночь, и под утро у неё был список, нацарапанный ногтем на столешнице рядом с её старыми метками, рядом со счётом мотков и локтей. Короткий список. Она смотрела на него и думала, что за всю жизнь ей не приходилось считать ничего важнее.

За окном светало. Снег перестал. И из-за выгона, с той стороны, где чернел лес, не доносилось ни звука.

Глава 5. Сборы

Список был короткий, но собрать его оказалось труднее, чем она думала.

Первым в нём стоял нож. Отцовский, не мужнин. Белогоров нож был хорош для хлеба и лучины, но короток, а отцовский, охотничий, с широким лезвием и рукоятью из лосиного рога, лежал в сенях за стрехой, завёрнутый в промасленную тряпку, с тех пор как отец ушёл на войну с торжокским ополчением и не вернулся. Зоряне тогда было двенадцать. Бабка, у которой Зоряна тогда жила, спрятала нож, сказала: пусть лежит, не для бабьих рук. Зоряна нашла его через неделю и с тех пор знала, где он, но ни разу не брала.

Теперь она достала его, развернула. Лезвие потемнело, на нём проступили бурые пятна ржавчины. Она села на крыльцо с точильным бруском и полдня водила по нему, мерно, без спешки, как водила когда-то пестом в ступе, растирая крушину. Ржавчина сходила неохотно. Под ней сталь была серая, матовая, с едва заметным узором, похожим на воду.

Вторым была соль.

Соли в доме было мало, полмешочка, а соль в Ивнягах стоила дорого: её везли из Торжка, а в Торжок – откуда-то с юга, с солёных озёр, за десять дней пути. Зоряна берегла её для засолки грибов. Но про соль она помнила с детства, от бабки: в лесу без соли не спи. Соль – это граница. Что за солью, то не твоё, что внутри – твоё. Круг из соли не перейдёт ни зверь, ни дух, ни голос.

Она пошла к Корниловым. Корнилова открыла дверь и испуганно отступила.

– Мне соли надо, – сказала Зоряна. – Сколько дашь. Я пряжей отдам. Чёрной, вороньей, десять мотков.

Корнилова смотрела на неё, моргая.

– Зачем тебе столько?

– Грибы солить.

– Зимой?

– Зимой.

Корнилова помолчала, потом ушла в избу и вынесла мешочек, тяжёлый, туго завязанный. Отдала молча. Зоряна пошла было за пряжей, но Корнилова удержала её за рукав.

– Не надо пряжи, – сказала она тихо. – Не надо, Зоряна. Мои вон, близнецы, дома сидят. За одного посчитали, а их двое. А если бы за двоих, то была бы я десятая, а не ты. Я ночами не сплю, всё думаю: а если бы. Возьми так.

Зоряна взяла.

Третьим был котелок. Маленький, медный, красильный, в котором она пробовала отвары, прежде чем ставить большой котёл. Он помещался в котомку, и в нём можно было вскипятить воды, сварить похлёбку, а можно – она сама не знала, почему подумала об этом, – можно было сварить краску. Мысль была глупая, но не уходила. В лесу, где всё чужое, ей хотелось иметь при себе что-то, что умеет делать только она. Что-то своё.

Четвёртой была нить. Красная, крашенная марёной, крепкая, льняная. Моток длиной в сотню локтей. Зоряна не знала, зачем ей нить, но бабка всегда говорила: красная нить дорогу помнит. Привяжи у порога и иди, и найдёшь путь назад, даже если глаза ослепнут. Сказки, конечно. Но нить была лёгкая, и она её взяла.

Хлеба она напекла на неделю: сухого, плоского, такого, что не плесневеет и не крошится. Насушила сухарей. Положила в котомку кусок сала, завёрнутый в холстину, горсть сушёных яблок, мешочек толокна. Огниво, кремень, трут. Запасные онучи, рукавицы. Иглу и моток суровой нитки.

Шапку Велько она носила за пазухой, не вынимая. Дощечку с именем брата – в кармане передника.

Сторожа у ворот стояли каждую ночь. Днём уходили. Зоряна видела их сквозь щель в ставнях: Твердята и молодой парень из Гончаровых, двоюродный брат Тишки. Стояли, переминались с ноги на ногу, грели руки над жаровней, которую сами притащили. Иногда переговаривались вполголоса. Один раз Зоряна услышала, как Твердята сказал:

– Не пойдёт она никуда. Куда ей идти. Кто ж в лес-то пойдёт.

– Говорят, Ершова ходила.

– Говорят. А где та Ершова?

Они замолчали. Дорофея среди сторожей не было. Зоряна вспоминала, как он сидел у плетня и строгал свистульку, и не могла понять, что чувствует. Злость? Он держал её в ту ночь. Держал, пока Твердята нёс её сына к камню. Но держал бережно. И сказал: смотри, он на тебя смотрит. И подобрал шапку.

Она не знала, что с этим делать, и решила не думать.

Вечером второго дня, когда всё было собрано и котомка стояла в углу, накрытая рогожей, к ней пришёл Селиван.

Он пришёл не к калитке, а с огородов, со стороны оврага, той самой тропой, по которой она собиралась уходить. Зоряна услышала стук в заднюю дверь, тихий, осторожный, и сначала подумала, что это Рогнеда. Открыла и отшатнулась.

Десятник стоял в сенях, весь в снегу, без палки. Без палки она его никогда не видела. Без неё он казался ниже ростом и совсем старым, почти бесплотным, будто палка была тем, что держало его на земле.

– Пусти, хозяйка, – сказал он своим шелестом. – Ненадолго.

Она пустила. Он вошёл в избу, огляделся, сразу заметил котомку под рогожей и отвёл глаза. Сел на лавку у двери. Зоряна стояла у печи, сжимая в руке кочергу.

– Не бойся, – сказал Селиван. – Не трону. Я не за этим.

– А за чем?

Он долго молчал. Смотрел на свои руки, сухие, узловатые, в пятнах.

– Сколько тебе было, – спросил он наконец, – когда брата твоего отдали?

– Пять.

– Пять. – Он кивнул. – А мне было пятьдесят шесть. Я тогда уже двадцать лет как палку носил. Отцовскую палку. Он её от своего отца принял. А тот от своего. Мы десятники. Наш род всегда счёт ведёт. От самого начала. Как основатели пришли, так наш прадед палку вырезал и первую зарубку положил.

Зоряна молчала.

– Знаешь, что такое палка? – спросил Селиван. – Это не дерево. Это память. В ней каждый отданный. Каждый, от самого первого. Двести лет. Я их всех знаю. Не по именам, имён на палке нет. По зарубкам. Я ночью лежу и пальцами по ней вожу, и каждую зарубку чувствую. Глубокие, мелкие. Какие резал отец, какие дед. Какие я.

Он поднял на неё глаза. Красные, воспалённые, мокрые.

– Брата твоего я резал. Помню. Он был светлый такой. Не плакал. Смотрел на меня, когда я руку на голову клал, и спросил: дедушка, а больно будет? Я сказал: нет. А сам не знал.

– Зачем ты пришёл? – спросила Зоряна. Голос у неё дрожал.

Селиван встал. Подошёл к ней близко, так близко, что она почувствовала запах его армяка: прелое сено, старость, дым. Наклонился к самому её уху.

– Счёт неверен, – прошептал он.

Зоряна застыла.

– Что?

Он отстранился. Посмотрел на неё долгим взглядом, тяжёлым и тоскливым, как у собаки, которая не может объяснить хозяину, что в доме пожар.

– Больше ничего не скажу, – произнёс он обычным своим шелестом. – Не могу. Уже и так сказал больше, чем можно. Ты иди, раз собралась. Я тебя не видел. И ты меня.

– Как неверен? – Она схватила его за рукав. – Селиван. Что значит неверен? Велько был не десятым? Кто десятый? Кто?

– Пусти.

– Скажи!

– Пусти, хозяйка.

Он не вырывался. Просто стоял, а она держала его рукав, и рукав был тонкий, старый, и под ним прощупывалась рука, худая, как сухая ветка. Она могла бы её сломать. Могла бы трясти его, пока не скажет. Он бы, наверное, не сопротивлялся.

Она разжала пальцы.

– Почему ты мне это говоришь? – спросила она. – Почему сейчас? Почему не тогда, у камня?

– Потому что тогда я не мог, – сказал Селиван. – А теперь ты всё равно уходишь. Уходящему можно сказать. Лес не слышит, что говорят уходящим. Так старики говорили.

– А Рогнеде? Ты Рогнеде говорил?

Он вздрогнул, будто она его ударила.

– Нет.

– Почему?

– Рогнеда не ушла.

Он повернулся и пошёл к задней двери. На пороге остановился, не оборачиваясь.

– Не иди вдоль Осинки, – сказал он. – Там Сухота близко подходит. Иди прямо от камня. Прямо, сколько сможешь. И не называй себя. Никому. Даже если позовут ласково. Особенно если ласково.

Он вышел. Зоряна слышала, как скрипит снег под его шагами, сначала близко, потом дальше, потом всё стихло.

Она долго стояла посреди избы. Потом села на лавку, туда, где только что сидел Селиван, и обхватила голову руками.

Счёт неверен.

Значит, Рогнеда видела правду. Селиван посмотрел на Радогоста, и Радогост кивнул. Значит, Ладушка не была десятой. Значит, и Велько… Значит, кто-то решает. Не палка, не лес, не древний закон. Кто-то решает, чьего ребёнка отдать.

Зачем? Зачем Радогосту отдавать её сына?

Она не понимала. Она перебирала в голове все свои встречи со старостой, все разговоры, все слова. Он всегда был с ней ласков. Когда умер Белогор, Радогост сам приходил, приносил зерно, предлагал помочь с крышей. Она отказалась, крышу перекрыла сама, с Рогнединым мужем. Радогост не обиделся. Улыбнулся, сказал: гордая ты, Зоряна, как отец твой. Отец твой тоже никогда ни у кого не просил.

Что ещё? Пряжу у неё покупала Радогостова жена, хорошую цену давала. Сын Радогоста, Добромир, сватался к ней, когда она ещё в девках ходила, до Белогора. Она отказала. Добромир женился на другой, на дочке торжокского купца, и у них родились дети. Трое, кажется. Нет, четверо. Последняя – девочка, маленькая, лет шести… Нет. Семи. Ей тоже в эту зиму было семь. Как её звали? Зоряна не помнила. Радогостовы жили на отшибе, в большом доме с резными воротами у самой мельницы. Мельница была последней. Счёт шёл от камня к мельнице.

Она не была на сходе. Радогостова внучка. Зоряна вдруг ясно увидела ряд белых рубашек у камня. Двенадцать. Она считала их с весны, двенадцать детей седьмой зимы. Тишка, близнецы, Груня, Велько, Мстиша, Маланья… Она называла их про себя одного за другим. Одиннадцать. Двенадцатая – Радогостова внучка. Была она в ряду?

Зоряна не могла вспомнить. В ту минуту она смотрела только на сына.

Она сидела и смотрела в стену, и холод поднимался по её спине медленно, позвонок за позвонком, как вода поднимается в колодце.

Наутро она пошла к мельнице.

Предлог нашёлся легко: у неё кончилась ржаная мука, а мельник продавал её помаленьку и в долг. Зоряна шла по улице с пустым мешком на плече, и люди, завидев её, отворачивались, уходили во дворы, прикрывали калитки. Она не обращала внимания. Шла и считала дворы. Седьмой – её. Восьмой – Ершовы, Мстиша. Девятый, десятый. Мельникова изба. Мельница.

За мельницей, на взгорке, стоял дом Радогоста.

Дом был большой, двухъярусный, с высоким крыльцом и резными воротами, на которых были вырезаны солнца, птицы и колосья. Ни одного волка. Во дворе играли дети. Двое мальчишек постарше катали снежный ком, а рядом с ними, в нарядной шубке, крытой алым сукном, прыгала девочка. Маленькая, круглолицая, с толстой русой косой, перевязанной лентой. Она смеялась и кидала в братьев снегом.

Зоряна остановилась у забора.

Девочка заметила её и замерла с комом снега в руке. Посмотрела с любопытством, как смотрят дети на незнакомую тётку. Потом улыбнулась и помахала рукавичкой.

– Тётенька, вы к деду?

Зоряна не успела ответить. Дверь дома распахнулась, и на крыльцо выбежала молодая женщина в богатом платке, Добромирова жена, торжокская купеческая дочь. Она увидела Зоряну, и лицо её стало белым, как снег под ногами.

– Милава! – крикнула она. – Милава, домой! Сейчас же!

– Мам, я ещё…

– Домой, я сказала!

Она слетела с крыльца, схватила девочку за руку и потащила в дом, почти волоком. Девочка заплакала от обиды. Мальчишки остановились, глядя то на мать, то на Зоряну. Дверь захлопнулась. Через мгновение в окне второго яруса дрогнула занавеска, и Зоряна увидела за ней чьё-то лицо, тяжёлое, с бородой надвое. Лицо смотрело на неё мгновение, а потом занавеска опустилась.

Зоряна стояла у забора и сжимала в руке пустой мешок.

Милава. Седьмая зима. Шубка, крытая алым сукном. В ряду у камня она не стояла, теперь Зоряна была в этом уверена. Белых рубашек было одиннадцать, а не двенадцать. Одиннадцать, и она даже не заметила. Никто не заметил. Или все заметили и промолчали.

Муки она так и не купила.

Через день, вечером, Рогнеда протопила баню.

Зоряна видела, как поднимается над Рогнединым огородом белый пар, как он стелется по снегу и уходит к оврагу. Видела, как Рогнеда выходит к калитке с кувшином и двумя кружками и несёт сторожам. Твердята засмеялся, взял кружку, выпил залпом. Парень из Гончаровых сначала отказывался, но потом тоже выпил. Рогнеда налила ещё. Постояла с ними, что-то говорила, смеялась. Зоряна не слышала, как смеётся Рогнеда, три года. Смех был чужой, ломкий, неумелый, будто Рогнеда разучилась.

Потом Рогнеда ушла, оставив кувшин сторожам.

Зоряна надела всё тёплое, что у неё было. Две рубахи, одну на другую. Шерстяную понёву, крашенную ею же в тёмно-бурый, чтобы не было видно в лесу. Белогоров тулуп, перешитый под неё, длинный, до колен. Валенки, онучи, рукавицы на верёвке через плечо. Платок, а поверх платка – Белогорову шапку. Отцовский нож на пояс, в ножны, которые она сама сшила из старой кожи. Котомку на спину.

Перед тем как выйти, она обошла избу. Потрогала печь, ещё тёплую. Потрогала стол, свои метки на столешнице. Потрогала туесок с перьями.

– Я вернусь, – сказала она вслух. – Мы вернёмся. Досчитаешь.

Она взяла с полки огарок свечи, зажгла его и поставила на окно. Так в Ивнягах делали, когда ждали кого-то с дороги. Пусть горит. Пусть видят.

Потом вышла в сени, отворила заднюю дверь и шагнула в темноту.

Огород был белый, ровный. Луна ещё не взошла, но снег светился сам, тускло, как светится в темноте гнилушка. Зоряна пошла вдоль плетня, пригибаясь, к Рогнединой бане. Баня стояла на задах, низкая, тёмная, только из оконца пробивался красный свет каменки. Пар валил из-под стрехи. Пахло берёзовым веником и мокрым деревом.

У бани её ждала Рогнеда.

Она стояла в одной рубахе, распаренная, красная, с мокрыми волосами, и на морозе от неё шёл пар, как от лошади. В руках она держала свёрток.

– На, – сказала она, сунув свёрток Зоряне. – Возьми. Тут пирог. И мёд. И ещё. Это ей. Ладушке. Если встретишь.

Зоряна развернула край. В свёртке, поверх пирога, лежала маленькая детская рубашонка, вышитая по вороту голубыми цветами.

– Рогнеда…

– Молчи. Возьми и молчи. – Рогнеда схватила её за плечи. – Тропка вон там, вдоль плетня, до выгона. А дальше сама знаешь. Сторожа пьяные, Твердята уже песни поёт. Тебя не хватятся до утра. А утром я скажу, что ты у меня в бане ночевала и ушла на рассвете к Агриппине. Пусть ищут у Агриппины.

– Тебя Радогост…

– Ничего мне Радогост не сделает. Что он мне сделает? Дочку отнимет?

Она засмеялась, и смех был страшный.

– Иди, – сказала она. – Иди, Зоряна. Иди, пока я не передумала и не пошла с тобой.

Зоряна обняла её. Рогнеда была горячая, мокрая, и пахла берёзой, и Зоряна прижималась к ней долго, как прижимаются к печи, уходя на мороз.

Потом отпустила, повернулась и пошла по тропке вдоль плетня.

Она не оборачивалась. Только когда дошла до края огородов, до того места, где начинался выгон, услышала позади, тихо, почти неслышно, как Рогнеда поёт. Ту песню, которую поют, провожая в дорогу: «Ты иди, моя родимая, по белой по дороженьке…»

Зоряна сглотнула и пошла быстрее.

Выгон лежал перед ней пустой, белый, огромный. Волчий камень чернел посередине, и Зоряна шла к нему, проваливаясь в снег, и камень становился всё больше, всё темнее. Она дошла, остановилась, тяжело дыша. Сняла рукавицу и, сама не зная зачем, положила руку в выбоину.

Камень был тёплый.

Она почувствовала, как под ладонью что-то шевельнулось. Слабо, едва-едва, как шевелится под рукой ребёнок в утробе. Как дышит спящий зверь.

– Пусти меня, – прошептала она камню. – Я за ним. Я не платить. Я забрать.

Камень молчал. Но тепло под рукой не уходило, и Зоряна стояла так долго, пока не почувствовала, что рука согрелась до самого локтя.

Тогда она натянула рукавицу и пошла к лесу.

Прямо, как говорил Селиван. Прямо от камня, сколько сможешь.

Глава 6. Опушка

Под деревьями было темно и тихо, и снег здесь лежал иначе.

Зоряна заметила это сразу, едва перешагнула черту, за которой кончался выгон. На выгоне снег был глубокий, рыхлый, она проваливалась в него по колено. А под первыми елями снега почти не было. Тонкий слой, присыпка, как мука на столе, а под ней – хвоя, бурая, сухая, пружинящая под ногами. Ели стояли густо, переплетаясь нижними лапами, и снег оставался на них, наверху, не долетая до земли. Над головой был снежный потолок, и под ним – сумрачная, пахнущая смолой пещера.

Зоряна остановилась и оглянулась.

Выгон был виден сквозь стволы, белый, светлый, и на нём чернел камень. А дальше, совсем маленькие, огни Ивняг. Где-то среди них горела её свеча на окне. Зоряна не могла её различить, но знала, что горит.

Она повернулась и пошла дальше.

Прямо от камня. Так сказал Селиван. Прямо, сколько сможешь. Она старалась идти прямо, но ели не давали. Приходилось обходить стволы, подлезать под лапы, перебираться через упавшие деревья, огромные, покрытые мхом, похожие на спящих зверей. Каждый раз, обойдя очередное препятствие, Зоряна останавливалась и пыталась понять, куда идти дальше. Позади уже не было видно выгона. Только ели, ели, ели, и сумрак между ними, и тишина.

Тишина была особенная. Не пустая, как в зимнем поле, а густая, плотная, словно лес затаил дыхание и слушал её шаги. Ни птицы, ни белки, ни ветра. Только хруст хвои под валенками и её собственное дыхание, тяжёлое, с присвистом.

Зоряна шла и считала шаги. Это помогало. Сто шагов – остановка, оглядеться. Ещё сто. Ещё. На пятой сотне она поняла, что не знает, сколько прошло времени. Свет не менялся, сумрак оставался таким же ровным, серым. Ночь? Утро? Она вышла из Ивняг до полуночи. Значит, ночь. Но в ночном лесу должно быть темно, а здесь было не темно и не светло. Просто серо, как в предрассветный час, когда уже видишь очертания вещей, но ещё не видишь цвета.

На восьмой сотне шагов она увидела первый след.

Это был волчий след, крупный, чёткий, отпечатанный в тонком слое снега между двумя корнями. Четыре пальца, когти, широкая подушка. Рядом – второй, третий. Цепочка уходила влево, к густому ельнику.

А рядом с волчьей цепочкой шла другая. Маленькая. Детская.

Зоряна опустилась на колени.

Следы валенок. Маленьких, детских, с круглым носом. Она знала эти валенки. Она сама их подшивала в листопад, ставила на пятку заплату из старого голенища, и вот она, заплата, отпечаталась в снегу косым рубцом.

Велько.

Она протянула руку и коснулась следа. Снег был холодный, рассыпчатый. След давний, ему было дней семь, не меньше. Края осыпались, а сверху его припорошило свежим снегом. Но след был. Он был здесь. Он шёл здесь, рядом с волками.

Шёл сам. Не волокли, не тащили. Шаги ровные, неторопливые. Один раз, у корня, след сбился, будто мальчик споткнулся, но дальше снова пошёл ровно. А рядом, совсем близко, слева от детских следов, шёл крупный волчий. Тот, белый, подумала Зоряна. Он шёл рядом с ним. Как рядом с хозяином.

Она встала и пошла по следам.

* * *

Радогост узнал утром.

Его разбудила невестка, Добромирова жена. Вбежала в горницу растрёпанная, с белым лицом, и закричала с порога:

– Ушла! Батюшка, ушла она! Красильщица!

Радогост сел на постели. Посмотрел на невестку долгим взглядом, под которым она осеклась и замолчала.

– Не кричи, Беляна, – сказал он ровно. – Детей разбудишь.

– Батюшка, я её вчера у ворот видела, она на Милаву смотрела, я сразу поняла, что она…

– Я знаю, что ты поняла. Иди. Вели Твердяту позвать. И Дорофея.

Беляна ушла. Радогост посидел ещё немного, глядя в окно. Окно выходило на мельницу и на реку, и дальше, за рекой, на лес. Лес стоял чёрный, ровный. Как всегда.

Он оделся неторопливо, умылся, расчесал бороду надвое. Спустился в нижнюю горницу, сел за стол. Велел подать взвару. Когда пришёл Твердята, Радогост уже пил вторую кружку.

Твердята стоял у порога, мял в руках шапку и не поднимал глаз. Рыжая борода его была всклокочена, лицо опухшее, мутное. От него пахло брагой.

– Ну, – сказал Радогост. – Рассказывай.

– Не знаю я, Радогост. Стояли всю ночь, как велено. Не выходила она. Окно светилось, свечку она поставила. Мы думали, сидит.

– Свечку. – Радогост кивнул. – Свечку на окно, чтобы видели. Хорошая баба. Умная. А брагу кто вынес?

Твердята побагровел.

– Рогнеда.

– Рогнеда. – Радогост поставил кружку. – Ладно. Иди домой, проспись. С Рогнедой я сам поговорю.

Твердята не ушёл. Постоял, переминаясь, потом поднял глаза.

– Радогост. А может, и пусть? Пусть идёт. Ну что она там? Сгинет, как Ершова сгинула. Лесу-то что? Лес своё взял.

– Иди, Твердята.

Кузнец ушёл. Радогост остался сидеть, глядя в кружку, где плавали разварившиеся ягоды шиповника.

Дорофей пришёл через час. Вошёл без стука, как входил всегда, остановился у двери, поставил к стене самострел. Не снял шапку. Он единственный в Ивнягах не снимал при Радогосте шапку, и Радогост ему это позволял.

– Сядь, – сказал староста.

– Постою.

– Как хочешь. Знаешь уже?

– Знаю. Вся деревня знает. Гончарова по дворам бегает с самой зари.

– Ну, тем проще. – Радогост вздохнул. – Ты по следу пройдёшь?

Дорофей помолчал.

– По её – пройду, – сказал он. – Она не прячется. Прямо от камня пошла. Я видел с выгона. Валенки бабьи, широкие, шаг короткий. Тулуп Белогоров по снегу волочится. Пройду.

– В лес пройдёшь?

– Зачем тебе?

Радогост откинулся на спинку лавки. Посмотрел на охотника, на его тёмное лицо, на глубокие складки у рта.

– Затем, что она не просто так ушла. Вчера она у моих ворот стояла. На Милаву смотрела. Ты понимаешь, что это значит?

– Понимаю.

– Ничего ты не понимаешь. – Радогост вдруг стукнул ладонью по столу, и кружка подпрыгнула. Голос его не повысился, но в нём появилась жёсткость, которую Дорофей слышал

редко. – Если она там, в лесу, что-нибудь найдёт. Если поймёт что-нибудь, чего понимать не надо. Если вернётся и начнёт говорить. Ты знаешь, что будет?

– Что?

– Сосновка будет. Ты думаешь, Сосновка от того погибла, что ребёнка не отдали? Нет. Сосновка погибла от того, что люди перестали верить. Счёт разрушили. Начали спорить, кто десятый, кто не десятый. Начали прятать. Начали ходить в лес. А когда в лес ходят, лес сердится. И Сухота приходит. – Радогост перевёл дыхание. – Я этот край держу, Дорофей. Я, мой отец, мой дед. Двести лет держим. Без нас, без счёта, без порядка здесь бы давно одни трубы стояли, как в Сосновке. И я не дам одной бабе, у которой горе, всё это разрушить. Не дам.

Дорофей слушал молча.

– Иди за ней, – сказал Радогост. – Найди. Верни. Скажи ей что хочешь. Что мальчонку видел, что он живой, что ему хорошо. Соври. Утешь. Приведи домой. Я её не трону. Будет жить, как жила. Пряжу красить. Замуж выйдет, родит ещё. Забудет.

– А если не пойдёт?

Радогост помолчал. Долго, тяжело.

– Тогда пусть не возвращается, – сказал он тихо. – Никогда. Ты понял меня?

– Понял.

– Лес большой. Мало ли что в нём бывает. Ершова не вернулась. И никто не спрашивал.

Дорофей смотрел на него. Лицо охотника было неподвижно, но что-то в его глазах изменилось. Что-то затвердело, как вода, схваченная первым морозом.

– Ты мне это говоришь, – сказал он медленно, – потому что знаешь, что я в лес ходил.

– Говорю, потому что ты один в Ивнягах в лес ходишь и возвращаешься. Только ты. Двадцать лет ходишь, за белкой, за куницей. Опушкой, я знаю, не вглубь. Но ходишь. И серые тебя не трогают. Почему, Дорофей? Ты никогда не говорил.

– Не спрашивал никто.

– Я спрашиваю.

Дорофей не ответил. Подошёл к стене, взял самострел. Проверил тетиву. Закинул на плечо.

– Найду, – сказал он. – Верну, если пойдёт.

– А если не пойдёт?

– Тогда решу.

– Не ты решаешь.

– В лесу – я.

Он вышел. Радогост остался сидеть, глядя на закрывшуюся дверь. Потом встал, поднялся в верхнюю горницу, где спала Милава. Девочка лежала на широкой постели, разметавшись, с толстой косой на подушке. Дышала ровно, тихо.

Радогост постоял над ней, глядя на неё сверху. Потом наклонился и поправил одеяло.

– Спи, – сказал он. – Спи, ягодка. Дед стережёт.

* * *

Дорофей не пошёл сразу к лесу. Сначала он зашёл к Рогнеде.

Рогнеда стояла во дворе и колола дрова. Колола зло, с размаху, и полено разлеталось надвое с одного удара, щепки брызгали в снег. Увидев Дорофея у калитки, она не остановилась. Поставила новое полено, замахнулась.

– Пришёл? – спросила она, не оборачиваясь. – Ну, бей. Или Радогост тебе велел меня к нему привести? Так я сама дойду.

– Не велел.

Топор опустился. Полено раскололось.

– Тогда чего надо?

– Когда она ушла?

– Не знаю.

– Рогнеда.

Она обернулась. Лицо у неё было красное, мокрое от пота, и на щеке – полоса сажи.

– До полуночи, – сказала она. – Ты за ней пойдёшь?

– Пойду.

– Вернёшь?

– Если пойдёт.

– Не пойдёт, – сказала Рогнеда. – Ты её не знаешь. Она не пойдёт. – Она подошла к калитке вплотную, с топором в руке, и Дорофей не отступил. – Слушай меня, охотник. Ты в ту ночь меня держал. Три года назад. Ты помнишь? Ты меня за плечи держал, пока Ладушка уходила. И говорил мне: смотри, она на тебя смотрит. Ты всем так говоришь?

Дорофей молчал.

– Если ты её тронешь, – сказала Рогнеда, – если ты ей там что-нибудь сделаешь, по Радогостову слову, я узнаю. Не знаю как, но узнаю. И тогда я тебе этим топором голову разобью. Слышишь? Мне терять нечего.

– Слышу, – сказал Дорофей. И, помолчав, добавил: – Я всем так говорю. Потому что это правда. Они всегда смотрят.

Он пошёл прочь. Рогнеда стояла у калитки с топором и смотрела ему вслед.

Он вышел на выгон. Снег здесь был истоптан Ночью Десятины, но поверх старых следов, ровной цепочкой, шли новые. Бабьи валенки, широкие, шаг короткий, но твёрдый. Прямо от огородов к камню. У камня следы потоптались, будто человек стоял тут долго. Дорофей присел, посмотрел. Отпечаток коленей нет. Не молилась. Стояла. Он поднял глаза на выбоину в боку камня и увидел на её краю тонкую рыжую полоску. Ольховая краска. Она клала руку.

Дорофей выпрямился и долго смотрел на лес.

– Не тронь её, – сказал кто-то у него за спиной.

Он обернулся. Селиван стоял шагах в десяти, опираясь на свою палку, и снег вокруг него был не истоптан, будто десятник просто вырос из него, как камень.

– Ты-то что здесь делаешь, дед?

– Смотрю. Я каждое утро смотрю. – Селиван подошёл ближе. Палка его оставляла в снегу круглые ямки. – Он тебя послал. Я знаю, что он тебе сказал. Он отцу моему то же говорил, когда Ершова ушла. Только отец не пошёл. А ты пойдёшь.

– Пойду.

– Не тронь её, Дорофей.

– А тебе что за дело?

Селиван долго молчал. Потом поднял палку и положил ладонь на одну из зарубок, высоко, почти под самым верхом. Глубокую, обведённую кругом.

– Это твоя, – сказал он. – Помнишь?

Лицо у Дорофея дёрнулось, как от удара.

– Помню, – сказал он хрипло.

– Вот и мне есть дело, – прошелестел Селиван. – Иди. И помни.

Он повернулся и пошёл к деревне, и Дорофей стоял у камня, пока старик не скрылся за плетнями. Потом закинул самострел за плечо и шагнул под ели.

* * *

Детские следы шли через ельник, потом через неширокую поляну, засыпанную снегом, где Зоряна снова проваливалась по колено, потом снова под ели. Волчьи следы шли рядом. Иногда отходили в сторону, кружили, возвращались. Будто волки отбегали проверить что-то и снова возвращались к мальчику.

Потом следы вышли к ручью.

Ручей был узкий, но быстрый, не замёрзший, и вода в нём была чёрная, гладкая, с белыми бурунами на камнях. От воды шёл пар. Детские следы подошли к самому краю, постояли, судя по тому, как вытоптан снег. А потом пропали.

Зоряна обошла всё вокруг. Вверх по течению, вниз. На другом берегу снег лежал нетронутый. Ни детских следов, ни волчьих.

Перенесли, поняла она. Волк взял его и перенёс через воду. Или Велько сел ему на спину. Или… Она не знала. Но следы обрывались здесь.

Она посмотрела на ручей. Шириной в три шага. Глубина непонятная, вода чёрная, дна не видно. Пар поднимается, значит, тёплая. Или кажется тёплой, потому что вокруг мороз.

«Не переходи бегущую воду ночью», – вспомнила она. Бабка говорила. Бегущая вода ночью уносит память. Перейдёшь – и забудешь, откуда пришла. Сказки. Но сейчас ночь или не ночь? Здесь, под елями, она не могла понять.

Она стояла у ручья и не знала, что делать.

Потом сняла котомку, села на корень и достала хлеб. Отломила кусок, стала жевать. Хлеб был сухой, безвкусный, но она жевала, потому что знала: надо есть. Надо есть и надо думать. Она не помнила, когда ела в последний раз. Рогнедины щи. Это было вчера? Позавчера?

Пока жевала, смотрела на воду. Чёрная гладь, белые буруны. А под гладью – что-то двигалось. Тени. Длинные, тёмные, как рыбы, но не рыбы. Они проплывали медленно, мимо, вниз по течению, и Зоряне казалось, что у них есть лица.

Она перестала жевать.

Тени проплывали одна за другой. Десять. Двадцать. Она не могла сосчитать. И одна из них, проплывая мимо, вдруг повернулась к ней. Зоряна увидела лицо – бледное, размытое, с открытым ртом, без глаз. Детское лицо.

Она вскочила, отступила от воды. Хлеб выпал у неё из рук и покатился к ручью. Упал в воду и исчез, мгновенно, будто его кто-то схватил.

Тени пропали.

Вода снова стала просто водой: чёрной, гладкой, с белыми бурунами. Где-то на перекате тихо позванивал лёд, наросший на камнях. Зоряна смотрела на неё и думала о Сосновке, о людях, которые пили и не могли напиться. Думала о том, что вода в лесу – не та вода, что в колодце. Что здесь у всего есть второе дно, как у истинного имени есть мирское, а у мирского – истинное. Ей вдруг стало ясно, что весь этот лес – как отвар в котле: сверху мутный, ничего не видно, а опусти в него пряжу, и узнаешь, какого он цвета. Только опускать придётся себя.

Зоряна стояла, тяжело дыша, и сердце колотилось у неё в горле. Потом медленно, очень медленно, подняла котомку, закинула на плечо. Отошла от ручья на десяток шагов. Нашла место между двумя большими елями, где корни образовывали что-то вроде гнезда, укрытого от ветра.

Вытащила мешочек с солью.

Соль сыпалась из её пальцев белой ниткой, и Зоряна вела круг. Вокруг корней, вокруг гнезда, вокруг котомки. Медленно, не торопясь, следя, чтобы не было разрывов. Бабка говорила: если в круге разрыв, хоть с волосок, – как нет его. Круг вышел неровный, кривой, но целый. Зоряна проверила дважды, ползая на коленях по хвое.

Потом залезла в гнездо, завернулась в тулуп, подтянула колени к груди.

Шапка Велько лежала у неё за пазухой, тёплая. Она достала её, прижала к лицу. Пахло слабо. Почти не пахло. Но она держала шапку у лица и дышала ею, вдох за вдохом.

– Я нашла твои следы, – прошептала она. – Ты слышишь? Нашла. Ты шёл с ними сам. Ты не боялся. Ты молодец. Ты молодец, ягодка.

Лес молчал.

– Я завтра найду, куда тебя перенесли. Слышишь? Ты подожди меня. Чуть-чуть подожди.

Где-то далеко, за ручьём, в глубине леса, хрустнула ветка.

Зоряна замолчала.

Хруст повторился. Ближе. Потом ещё. Кто-то шёл к ручью с той стороны. Шёл медленно, тяжело, проламываясь сквозь подлесок. Зоряна сжалась в своём гнезде и нащупала рукоять ножа.

Шаги дошли до ручья и остановились.

Тишина. Долгая, бесконечная. Зоряна не дышала.

А потом с той стороны воды донёсся голос.

– Зорюшка, – сказал голос. – Зорюшка, ты здесь?

Это был голос её матери.

Глава 7. Голоса

– Зорюшка, – повторил голос. – Доченька. Ты здесь, я знаю. Я тебя слышу.

Зоряна сидела в своём гнезде между корнями и не дышала.

Голос был материн. Не похожий, не такой же – материн. Она узнала бы его из тысячи. Чуть хрипловатый, низкий для женщины, с придыханием на «ш», которое мать унесла с собой из Заречья, где родилась. Так мать звала её с огорода к ужину. Так будила по утрам, когда надо было идти за водой. «Зорюшка, вставай, солнышко встало, и ты вставай». Двадцать лет Зоряна не слышала этого голоса. Двадцать лет и чуть меньше – с тех пор, как мать замолчала после Люта и уже не заговорила до самой смерти.

– Ты озябла, доченька, – сказал голос. – Я слышу, как ты дрожишь. Иди ко мне. У меня тут огонёк. Тут тепло. Иди, я тебя укрою.

Зоряна закрыла глаза.

Не оборачивайся на чужой голос. Не отвечай. Не называй себя.

Она не знала, откуда взялись эти правила. Никто не учил её им нарочно. Они сами были в ней, как в каждом, кто рос в Ивнягах, – в бабкиных сказках, в присказках, в том, как мать одёргивала её в детстве, когда она, заигравшись у опушки, откликалась на чей-то зов. «Не тебя зовут. Тебя по имени зовут, только когда я зову. А я тебя оттуда не зову никогда».

Никогда.

Мать говорила это строго, но потом всегда обнимала, и Зоряна помнила тепло её рук, запах печёного хлеба и луковой шелухи, которой мать красила яйца к весеннему празднику. Это был единственный цвет, который мать умела делать: рыжевато-бурый, тёплый, как её ладони. Всем остальным цветам Зоряна научилась сама, потом, из бабкиных обрывков и собственных ошибок. Но луковую шелуху она любила до сих пор, и до сих пор, опуская её в кипяток, слышала: «Зорюшка, не обожгись».

– Зорюшка.

Голос был ближе. Прямо за ручьём, у самой воды.

– Зорюшка, ты на меня сердишься? Я знаю. Ты думаешь, я тебя бросила. Замолчала, легла, ушла. А я не бросала, доченька. Я пошла за ним. За Лютиком. Я его нашла. Он тут, со мной. Хочешь его увидеть? Он большой стал. Красивый. Он тебя помнит. Он про тебя спрашивает.

Зоряна прикусила губу так, что почувствовала вкус крови.

Это не мать. Мать лежит на ивняжском погосте, под берёзой, Зоряна сама ставила ей крест, сама каждую весну красила его охрой, чтобы не серел. Мать не уходила в лес. Мать просто легла однажды и не встала, и в избе после этого стало так тихо, что пятилетняя… нет, семилетняя Зоряна два дня не решалась никого позвать.

Это не мать.

– И Велько тут, – сказал голос. – Внучок мой. Я его в первый раз вижу. Какой хороший. На тебя похож. Глаза твои. Он плачет, Зорюшка. Он мамку зовёт. Иди к нам. Мы ждём.

И тогда она услышала другой голос.

Тонкий, детский, захлёбывающийся.

– Мама! Мама, ты где? Мама, мне страшно! Мама!

Зоряна вскочила.

Она не успела подумать, не успела вспомнить ни одного правила. Тело само рванулось к ручью, к голосу, к сыну. Она уже наполовину выбралась из гнезда, уже занесла ногу над соляной чертой, когда что-то её остановило.

Запах.

С той стороны ручья пахло. Не дымом, не корой, не молоком. Пахло сухой травой. Летним полднем, когда солнце печёт так, что трава на покосе выгорает до белизны и шуршит под ногами, ломкая, мёртвая. Запах был такой сильный, что у неё запершило в горле, и губы вдруг стали шершавыми, как береста.

Сосновка, подумала она. Серый бурьян между печными трубами.

Она замерла, стоя на одном колене, с поднятой над солью ногой. Медленно, очень медленно опустила ногу обратно. Внутрь круга.

– Мама! – кричал детский голос. – Мама, почему ты не идёшь? Мама, мне холодно! Мама!

– Ты меня не так зовёшь, – прошептала Зоряна.

Голос замолчал.

Она сказала это едва слышно, себе, а не тому, кто за ручьём, но он услышал. Наступила тишина, долгая, звенящая. Зоряна стояла на коленях внутри соляного круга и смотрела в темноту за ручьём, туда, где ничего не было видно.

– Он меня зовёт «мам», – сказала она громче. – Не «мама». «Мам». Коротко. Всегда так звал. С тех пор как говорить начал. А ты не знаешь. Ты не он.

За ручьём кто-то вздохнул.

Это был не человеческий вздох. Это был шелест. Будто ветер прошёлся по огромному полю сухой травы, и стебли зашуршали все разом, от края до края. Шелест прокатился над ручьём, над её кругом, над елями, и Зоряна почувствовала, как пересыхает у неё во рту, как трескается кожа на губах, как глаза начинает щипать, будто в них насыпали пыли.

Она зажмурилась и схватилась за шапку Велько у себя за пазухой.

Шелест стих.

Когда она открыла глаза, за ручьём ничего не было. Ни голоса, ни шагов, ни шороха. Вода текла, чёрная, гладкая, позванивая на перекате. Ели стояли неподвижно. И только на снегу у самой кромки воды, на той стороне, темнело пятно. Зоряна вгляделась. Пятно было серое, неровное, как выгоревшая на солнце трава. Посреди белого снега.

Она сидела, сжимая шапку, и её трясло. Мелко, неостановимо, всем телом. Зубы стучали. Она пыталась успокоиться, дышать глубоко, как учила Агриппина рожениц, но дыхание срывалось.

Она заплакала.

Не так, как плакала у камня, криком. А тихо, безнадёжно, как плачут дети, которые потерялись и уже не надеются, что их найдут. Плакала долго, уткнувшись лицом в колени, и слёзы на морозе тут же стыли на щеках.

А потом, когда слёзы кончились, она услышала вой.

Далеко, очень далеко, где-то в глубине леса. Один голос. Низкий, долгий, тоскливый. Тот самый, что она слышала ночью из окна, в ночь перед сходом. Он поднялся, повис над лесом, и опал. И снова. И снова.

А потом к нему присоединился другой. Тонкий, неумелый, срывающийся, как голос мальчишки, который только учится петь.

Зоряна подняла голову.

Второй голос сорвался, захлебнулся, замолчал. Первый продолжал, ровно, терпеливо, и через мгновение второй попробовал снова. Опять неумело, опять сбиваясь. Но держался дольше.

Она слушала, и что-то внутри у неё, что было сжато в кулак с самого схода, медленно-медленно разжималось.

Это не был голос Велько. Это не мог быть его голос. Это был волк, молодой волк, переярок, который учится выть со старшими. Но она слушала, и ей казалось, что в этом неумелом вое она слышит что-то знакомое. Не голос. Не звук. Что-то вроде того, как Велько напевал себе

под нос, когда считал перья. Без слов, без мотива. Просто тянул одну ноту, пока не кончалось дыхание.

Вой оборвался.

Зоряна сидела, вслушиваясь, но больше ничего не было. Только ручей.

Она не спала до утра. Если это было утро. Сумрак под елями не стал ни светлее, ни темнее. Но в какой-то момент она почувствовала, что ночь кончилась. Не увидела – почувствовала, как чувствует пряха, что нитка скручена довольно и пора наматывать. Воздух изменился. Стал легче, прозрачнее. И откуда-то сверху, сквозь еловый потолок, донёсся первый птичий голос. Резкий, скрипучий. Кедровка.

Зоряна вылезла из гнезда. Ноги затекли, не держали. Она постояла, держась за ствол, пока кровь не вернулась в ступни, жгучими иголками.

Потом подошла к ручью.

Серое пятно на том берегу никуда не делось. При дневном свете, если это был дневной свет, оно было видно отчётливо: круг шагов в пять шириной, где снег стал серым и рыхлым, как зола. Посреди пятна торчали из снега несколько стебельков. Сухая трава. Белая, ломкая, мёртвая. Посреди зимы.

Зоряна смотрела на неё долго. Потом перевела взгляд на ручей.

Днём вода казалась обычной. Тёмной, но прозрачной у берега, так что видно было камни на дне, обросшие бурыми водорослями. Никаких теней. Никаких лиц. Глубина – по колено, может, чуть больше.

Она могла бы перейти вброд. Снять валенки, онучи, перейти по камням, и на том берегу обуться снова. Вода ледяная, но три шага – это недолго. Можно вытерпеть.

Но там, на той стороне, было серое пятно. Там, где ночью стоял тот, кто звал её материным голосом.

Зоряна пошла вдоль ручья вверх по течению.

Она шла долго, может, час, может, больше. Ручей петлял между елями, то сужаясь, то разливаясь в маленькие тёмные заводи. Один раз она увидела в заводи рыбу – обычную, серую, с красными плавниками. Рыба стояла неподвижно, против течения, и не уплыла, когда Зоряна наклонилась над водой. Смотрела на неё круглым глазом. Потом медленно повернулась и ушла в глубину.

Наконец Зоряна нашла то, что искала: упавшую ель, перекинутую через ручей. Огромную, толстую, обросшую мхом, с обломанными сучьями. Комель её лежал на этом берегу, вершина – на том. Ствол был широкий, в два обхвата. По нему можно было пройти.

Зоряна залезла на ствол и пошла, раскинув руки для равновесия. Мох под валенками был скользкий, мокрый. Под ней чернела вода. Она старалась не смотреть вниз. Считала шаги. Пять. Шесть. Семь.

На середине ствола она остановилась.

Внизу, в воде, прямо под ней, лежал камень. Плоский, широкий. А на камне, придавленное течением, но не унесённое, лежало что-то светлое.

Она присела, вцепившись в сук, и вгляделась.

Тряпица. Обычная холщовая тряпица, в какую заворачивают хлеб. Край её трепетал в воде, как рыбий плавник. И на краю, вышитый красной ниткой, виднелся крохотный узор: ромб в ромбе, а по краям – птичьи лапки.

Она сама вышила этот узор. На тряпице, в которую завернула Велько пирог с черёмухой.

Зоряна сидела на стволе над водой и смотрела на тряпицу. Пирога в ней не было. Тряпица была пустая, развёрнутая, и течение медленно колыхало её туда-сюда.

Он съел пирог. Или отдал волкам. Или выронил. А тряпицу бросил в воду. Нечаянно? Нарочно?

«Тебя по краске найду», – сказала она ему. По рукам, по запаху коры.

Может, он понял. Может, он, умный, считающий, серьёзный мальчик, понял, что мать пойдёт за ним, и оставил ей знак. Бросил тряпицу с вышивкой там, где она пойдёт. На переправе. Там, где волки перенесли его через воду.

Или просто выронил.

Зоряна не знала. Но тряпица лежала на камне, и была с её вышивкой, и это значило, что Велько был здесь. Что он шёл по этому стволу или его несли над этим стволом. Что она на верном пути.

Достать тряпицу она не могла. Вода была слишком глубоко под стволом, и лезть в неё – значило упасть. Она посидела ещё немного, глядя на красные лапки, трепещущие в течении. Потом встала и пошла дальше.

На том берегу снег лежал ровно, и следов не было никаких. Но Зоряна теперь знала, куда идти. Волки шли от ручья. А раз переправились здесь, значит, их тропа идёт отсюда. Она опустилась на колени и стала искать.

Нашла через сотню шагов. Под низкой елью, где снег почти не долетал до земли, на бурой хвое – волчий след. Один. Потом ещё. А рядом – отпечаток детского валенка с косым рубцом заплаты на пятке.

Зоряна прижала ладонь к следу и закрыла глаза.

– Иду, – прошептала она. – Иду, ягодка.

Следы вели вглубь, и лес менялся.

Ели становились выше и старше. Стволы их уже нельзя было обхватить и вдвоём, кора на них была серая, растрескавшаяся, в глубоких бороздах, где жили мхи и лишайники, бледно-зелёные, как старая медь. Нижних ветвей не было вовсе – только высоко над головой, на высоте трёх, четырёх изб, начинались лапы, и там, наверху, лежал снег. А здесь, внизу, было просторно, как в огромной тёмной горнице, где колонны подпирают свод.

Иногда между колоннами попадались другие деревья. Берёза, белая, тонкая, неуместная здесь, как девочка в праздничной рубашке среди стариков. Рябина с несколькими уцелевшими гроздьями, налитыми, тёмно-красными, будто их только что сорвали с летнего куста. Зоряна остановилась под рябиной. Ягоды висели низко, прямо перед её лицом. Она не ела с утра, если это было утро, и сухари в котомке казались ей сейчас камнями. А ягоды пахли – терпко, свежо, морозно.

Не ешь, что дал лес.

Она отвела взгляд и пошла дальше. Через десяток шагов оглянулась. Рябины не было. На том месте, где она стояла, темнел только старый ольховый пень, весь в бурых наростах трутовика.

Зоряна отвернулась и больше не оглядывалась.

Потом она вышла к дереву.

Это был дуб. Огромный, древний, одинокий посреди ельника, с толстым, как печь, стволом и раскидистыми голыми ветвями. Снега на нём не было, ни крупинки. И весь он, от нижних ветвей до тех, до которых можно было дотянуться рукой, был увешан.

Сначала Зоряна не поняла, чем. Подумала: тряпки. Лоскуты, ленточки, верёвочки, как вешают на священные деревья у родников, загадывая желание. Подошла ближе.

Это были ленты. Детские ленты, какими плетут косички. И пояски, тонкие, плетёные, какие носят дети. И нитки с бусинами. И маленькие обереги на шнурках, деревянные, костяные, глиняные. И варежка. И ещё одна варежка, другая, крошечная, на совсем маленькую руку. И бубенчик на ремешке. И деревянная ложка, обгрызенная по краю. Сотни. Может быть, тысяча. Одни висели давно, так давно, что выцвели до серого, истлели, превратились в лохмотья, которые колыхались на ветках, как паутина. Другие были новее, ярче. А несколько, на нижней ветке, у самого ствола, были совсем свежие.

Зоряна подошла к нижней ветке.

Голубая лента с вышитыми цветочками. Такие цветочки вышивала Рогнеда. Зоряна узнала бы её стежок где угодно. Голубая лента висела на нижней ветке, выцветшая, но ещё целая, и рядом с ней – ещё одна, белая, совсем новая.

А рядом с белой лентой, привязанная за тонкую ниточку, висела маленькая ольховая свистулька в виде птички с раскрытым клювом.

Зоряна стояла и смотрела на неё, и губы у неё задрожали.

Она протянула руку и коснулась свистульки. Дерево было холодным. Ниточка, на которой она висела, была суровая, серая. Это была нитка из её же клубка, из тех, что лежали на полке у печи. Велько, должно быть, взял её тайком. Чтобы привязать. Он знал, что придётся привязать?

Нет. Не мог он знать. Просто взял нитку, как берут дети всё, что плохо лежит.

Тогда кто ему сказал?

Она стояла под дубом, держа в пальцах свистульку, и вдруг поняла, что это за дерево. Отданные дети оставляли здесь своё. Последнее, что у них было от дома. Каждый. Двести лет. Голубая лента Ладушки. Свистулька Велько. Где-то здесь, среди серых лохмотьев на верхних ветках, висело, наверное, что-то и от Люта. И от брата Радогоста – деревянный конь.

Зоряна подняла глаза и стала искать. Ветки уходили вверх, ряд за рядом, и всё на них было серым, истлевшим, неразличимым. Коня она не увидела. Ничего, что могло бы принадлежать её брату, она не узнала бы.

Она не стала снимать свистульку. Сама не знала почему. Казалось неправильным – как разрывать чужую могилу. Велько привязал её сам. Пусть висит.

Но прежде чем уйти, она достала из котомки моток красной нити, отрезала ножом длинный конец и привязала его к той же ветке, рядом со свистулькой. Красная нить повисла, трепеща на сквозняке, единственное яркое пятно на всём дереве.

– Это я, – сказала она тихо. – Я здесь была. Я иду за тобой.

Детские следы и волчьи уходили от дуба дальше, к северу, если здесь был север. Зоряна пошла по ним.

Позади неё, далеко, со стороны ручья, хрустнула ветка.

Она обернулась, но ничего не увидела. Ели, сумрак, тишина. Наверное, снег сорвался с лапы. Наверное, белка. Она отвернулась и пошла дальше по следам.

А далеко позади, укрытый за стволом старой ели, стоял человек в волчьем треухе и смотрел ей вслед. Он видел, как она переходила по стволу, как сидела над водой, как нашла след. Видел серое пятно у ручья и обошёл его стороной, по широкой дуге, не приближаясь. Видел соляной круг у корней, где она провела ночь, – целый, без единого разрыва. Видел, как она стояла под дубом.

– Ишь ты, – сказал Дорофей тихо, сам себе. – Не обернулась.

Он постоял ещё, подумал. Потом подошёл к дубу, долго смотрел на красную нитку, трепетавшую рядом со свистулькой, которую сам вырезал. Протянул руку, будто хотел коснуться, и опустил. И пошёл за ней.

Глава 8. Ведьмина гать

К исходу второго дня Зоряна поняла, что голод в лесу – не то, что голод дома.

Дома голод был простой. Сосало под ложечкой, кружилась голова, хотелось лечь. Она знала этот голод: в год, когда умер Белогор, они с Велько всю весну ели толокно на воде и крапивные щи, и она отдавала сыну свою долю, а сама жевала берёзовую кору, чтобы обмануть живот. Голод был противный, но понятный. Его можно было перетерпеть.

Здесь голод был другой. Он не сосал под ложечкой. Он шептал.

Сначала тихо, где-то на краю мысли, как шепчет вода в желобе. Потом громче. «Вот брусника под снегом, видишь? Красная. Сладкая. Одну. Одну ягодку. Кто узнает». И Зоряна видела бруснику – россыпь тёмно-красных ягод на зелёных кустиках, прямо у тропы, там, где снег стаял от чего-то тёплого. Она отводила глаза, и через десяток шагов брусники уже не было. Только мох, серый, и под ним что-то белое, похожее на кости мелкого зверька.

«Вот гриб, – шептал голод. – Белый, крепкий, как летом. Ты же знаешь грибы, ты не отравишься». И она видела гриб, крепкий, коричневый, с толстой ножкой, прямо из-под корня ели. Зимой. Посреди снега.

Она не останавливалась.

Сухари в котомке кончались. Она взяла их на неделю, но в лесу ела больше, чем рассчитывала, потому что от холода и ходьбы сил уходило вдвое. Сало она берегла. Мешочек толокна разводила снеговой водой в медном котелке, на крохотном костерке из сухих еловых веточек, и пила, обжигаясь. Толокно было безвкусное, серое, но настоящее. Из дома. Голод его не трогал.

Следы вели дальше. Иногда она теряла их, особенно на открытых местах, где снег был глубокий и ветер замёл всё, что было неделю назад. Тогда она ходила кругами, всё шире и шире, пока не находила снова: отпечаток когтистой лапы на насте, клок серой шерсти на сучке, детский след, вдавленный в мох под ёлкой. Каждый раз, найдя, она останавливалась и касалась следа рукой. Это стало у неё вроде обряда. Прикоснуться. Сказать про себя: иду. И идти дальше.

Ночью она снова спала в соляном круге. Соли оставалось меньше половины мешочка. Голоса в эту ночь не приходили. Но всю ночь кто-то ходил вокруг круга – неслышно, только снег поскрипывал, медленно, размеренно, будто кто-то тяжёлый обходил её дозором. Раз, другой, третий. Она не спала и считала круги. Насчитала тридцать семь. Потом сбилась.

Утром, если это было утро, вокруг соляной черты обнаружилась тропка. Утоптанная, плотная, широкая. А на тропке – ни одного следа. Будто ходил кто-то без ног.

Зоряна посмотрела на неё, собрала котомку и пошла дальше, не оглядываясь.

К полудню лес начал редеть.

Сначала стало светлее. Ели расступались, между ними появлялись прогалины, заросшие низкорослым березняком, корявым, кривым, с чёрными наростами на стволах. Потом под ногами захлюпало. Снег стал мокрым, серым, тяжёлым, налипал на валенки. Под ним проступала вода, чёрная, с ржавым отливом, пахнущая гнилью и железом.

Болото.

Зоряна остановилась на краю. Перед ней, насколько хватало глаз, тянулась равнина. Белая, плоская, с редкими кочками, на которых торчали из снега пучки жёлтой осоки. Кое-где стояли деревца – сухие, мёртвые сосенки, высотой в человеческий рост, с голыми, растопыренными, как пальцы, ветками. Над равниной висел туман. Низкий, плотный, молочный. Он лежал на болоте, как одеяло на постели, и под ним ничего не было видно.

Ведьмина гать. Она узнала её. Не видела никогда, только слышала. Рогнеда ходила сюда по грибы, в молодости, по краю, по опушке. Говорила, что у края болота растут белые, огромные, по ведру с одного места. Но вглубь никто не ходил. Говорили, что болото тянется до самой

Сухой пади, и что в старину через него была проложена гать – дорога из брёвен, по которой основатели вели свои обозы. Говорили, что гать давно сгнила и ушла под воду. Говорили, что тот, кто ступит на неё, уже не выйдет.

Следы вели на болото.

Детские и волчьи, рядом. Они уходили по краю, по твёрдому, потом поворачивали прямо в туман. И там, где поворачивали, Зоряна увидела под снегом бревно. Тёмное, почерневшее, скользкое, наполовину ушедшее в воду. За ним – другое. Третье. Гать. Она всё ещё была.

Зоряна постояла, глядя в туман.

Волк пройдёт, подумала она. Волк лёгкий, у него четыре лапы, он чует, куда ступить. Ребёнок пройдёт, он лёгкий. Если волк ведёт. А она – взрослая баба в тулупе и с котомкой.

Она сняла котомку, развязала, вынула всё, без чего можно обойтись. Медный котелок оставила, хотя он был тяжёлый. Запасные онучи бросила. Сало переложила за пазуху, к шапке Велько. Нож на поясе. Соль за пазухой. Моток красной нити – в карман передника, рядом с дощечкой. Остальное – в котомку, котомку за спину, и затянуть лямки потуже.

Потом нашла сухую берёзку, срубила ножом, обломала ветки. Получилась жердь, длиной в два её роста. Бабка говорила: по болоту без жерди не ходи. Провалишься – жердь поперёк положишь, и она тебя удержит.

Зоряна взяла жердь обеими руками и ступила на первое бревно.

Оно качнулось, но выдержало. Под ним хлюпнула вода. Она ступила на второе. Третье. Брёвна шли не ровно, а вкривь, где-то два рядом, где-то одно, и между ними зияли провалы, заполненные чёрной водой со льдинками по краям. Зоряна проверяла каждое бревно жердью, прежде чем наступить. Иногда жердь уходила в воду, не встретив опоры, и тогда она искала другое место, правее, левее.

Детских следов на брёвнах не было. Снег на них лежал нетронутый. Но Зоряна знала, что они шли здесь.

Туман сомкнулся за её спиной через сотню шагов.

Стало тихо. Совсем. Даже вода под брёвнами перестала хлюпать, будто прислушиваясь. Туман был такой плотный, что Зоряна не видела своих ног. Видела только жердь, до половины, и бревно перед собой, на шаг вперёд. Остальное было белым, мягким, влажным. Туман лип к лицу, оседал каплями на ресницах. Пах прелью и чем-то сладковатым, тошным.

Она шла и считала шаги.

На двухсотом шаге ей показалось, что кто-то идёт рядом.

Справа, в тумане, параллельно гати. Не по брёвнам, а прямо по болоту, по воде. Шагов не было слышно. Был только плеск, мягкий, ритмичный, в такт её собственным шагам. Шаг – плеск. Шаг – плеск.

Она остановилась. Плеск тоже остановился.

Она пошла. Плеск пошёл.

Зоряна стиснула жердь и не стала поворачивать голову. Не оглядывайся. Не смотри. Иди.

На трёхсотом шаге плеск стал ближе. Теперь он был совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки. И к нему добавился другой звук. Дыхание. Медленное, влажное, с присвистом, как дышит старик с больной грудью.

– Красильщица, – сказал кто-то тихо, почти ласково. – А, красильщица. Куда идёшь?

Это был не голос матери. Не голос Велько. Это был голос, которого она никогда не слышала. Мужской, глухой, булькающий, будто говорили из-под воды.

Зоряна не ответила.

– Красильщица. Что красишь? Скажи. Мне интересно. Я цвета люблю. Тут цветов нет. Тут белое и чёрное. А ты что красишь? Скажи. Скажи хоть, как тебя звать.

Не называй себя.

– Молчишь, – сказал голос. – Ну молчи. Я подожду. Мне ждать не трудно. Я тут давно жду. Ты ещё не родилась, а я уже ждал.

Плеск отстал. Совсем немного, на полшага. Потом ещё. Зоряна шла и чувствовала, как он отстаёт, и сердце у неё колотилось так, что отдавалось в ушах.

На четырёхсотом шаге бревно под ногой подломилось.

Она не успела понять, что случилось. Только что стояла на твёрдом, и вдруг под левой ногой ничего не стало. Бревно хрустнуло, как сухая ветка, прогнило насквозь, и нога ушла вниз, в чёрную воду, по колено, по бедро. Зоряна рухнула на бок, выпустила жердь. Жердь отлетела куда-то в туман. Правая нога соскользнула с бревна. И она провалилась.

Вода была ледяная. Холод ударил её так, что вышибло дыхание. Она хотела закричать и не смогла: в горле застрял ком, лёгкие сжались. Тулуп мгновенно набряк, потяжелел, потянул вниз. Котомка на спине потянула вниз. Она барахталась, хваталась руками за что-то – за бревно, за кочку, за осоку – и всё уходило из рук, всё было скользким, гнилым, рыхлым.

А снизу её что-то держало.

Не держало – тянуло. Мягко, почти нежно, как тянут спящего ребёнка с лавки, чтобы перенести в постель. Что-то обхватило её за щиколотки. Потом за колени. Холодное, мягкое, бесформенное. Ил, подумала она. Это просто ил, просто трясина. Но ил не обхватывает так. Ил не тянет так ровно, так настойчиво.

– Красильщица, – сказал голос у самого её уха, и она почувствовала на щеке дыхание, холодное и влажное. – Ну куда ты спешишь? Побудь со мной. Тут тихо. Тут спокойно. Тут не надо никого искать.

Её потянуло вниз. Вода сомкнулась над подбородком. Над ртом. Зоряна запрокинула голову, вытягивая шею, хватая воздух ноздрями.

– Отдай мне что-нибудь, – шептал голос. – Ну, хоть что-нибудь. Хоть немножко. Я много не прошу. Мне одно воспоминание. Самое маленькое. Отдай – и отпущу.

И она почувствовала, как что-то уходит.

Не из тела. Из головы. Будто кто-то запустил пальцы ей в память и шарит там, перебирает, как перебирают в сундуке старые тряпки. Вот что-то вынул. Посмотрел. Положил обратно. Вынул другое.

Она вдруг не смогла вспомнить, какого цвета были глаза у Белогора.

Серые? Карие? Она жила с ним восемь лет. Она смотрела в эти глаза каждое утро. Какого цвета? Она не помнила. Пусто. Там, где только что было, теперь была дыра, гладкая и холодная, как лёд на проруби.

– Вот, – сказал голос удовлетворённо. – Вот и хорошо. А ещё одно? Ну, ещё одно. Как тебя мать звала, а? Ласково? Отдай.

– Нет!

Она закричала. Вода хлынула ей в рот, она захлебнулась, закашлялась, забилась. Руки её беспорядочно молотили по воде, по снегу, по ледяной корке. Пальцы скребли по бревну и соскальзывали.

И вдруг что-то вцепилось ей в воротник тулупа.

Не мягкое, не холодное. Жёсткое. Острое. Крюк. Он зацепил ворот, рванул, и Зоряна почувствовала, как её тащат вверх. Грубо, сильно, неумолимо. Голова её вынырнула из воды. Плечи. Её поволокли по бревну, по снегу, по осоке, обдирая щёки, руки, и то, что держало её снизу, не хотело отпускать, тянуло назад, но крюк тянул сильнее.

Раздался звук, как будто рвётся мокрая ткань. Ноги её освободились.

Её выволокли на твёрдое и бросили.

Зоряна лежала на животе на чём-то плотном, кочковатом, и кашляла, и её рвало болотной водой. Изо рта текла чёрная жижа. Глаза ничего не видели. Всё тело трясло.

Кто-то стоял над ней.

Она слышала дыхание. Не влажное, не булькающее. Хриплое, тяжёлое, звериное. И запах – резкий, острый, от которого защипало в носу. Пахло псиной, дымом, прелой шкурой и полынью.

– Дура, – сказал кто-то хрипло. – Дура. Кто ж так по гати ходит.

Зоряна с трудом перевернулась на спину.

Над ней стояла старуха. Или существо, похожее на старуху. Низкое, сгорбленное, закутанное в шкуры – волчьи, серые, с остатками голов, лап, хвостов, свисающих по краям. Шкуры были сшиты грубо, жилами, и висели на ней, как висит снег на ели. Из-под шкур торчали ноги, обмотанные тряпками и лыком. Руки были голые, худые, коричневые, в узлах и шрамах, и в правой руке она держала длинную палку с железным крюком на конце. Багор.

Лицо у старухи было тёмное, морщинистое, как печёное яблоко. Волосы, седые, свалявшиеся, висели космами. А глаза…

Зоряна моргнула.

Глаза у старухи были жёлтые. Не карие, не светлые. Жёлтые, как у волка. С узкими, вертикальными, как у кошки, зрачками.

– Чья? – спросила старуха.

Зоряна молчала. Губы её не слушались. Зубы стучали.

– Чья, спрашиваю? – Старуха наклонилась над ней, принюхалась. Втянула воздух шумно, как собака. – Ивняжская. Корой пахнешь. Ольхой. Красильщица, значит. А по имени?

Не называй себя.

Зоряна стиснула зубы и мотнула головой.

Старуха выпрямилась. Посмотрела на неё сверху долгим жёлтым взглядом. И вдруг засмеялась. Хрипло, коротко, отрывисто, похоже на лай.

– Не говорит, – сказала она. – Ишь. Не говорит. Значит, не совсем дура. Значит, учили. Ну, вставай. Вставай, вставай, замёрзнешь. Он тебя отпустил, но недалеко. Он ещё тут.

Она ткнула багром в туман, в сторону гати.

Зоряна повернула голову. Там, в тумане, у края кочки, на которой она лежала, вода была неподвижная, чёрная, гладкая. Но под гладью что-то шевелилось. Медленно, лениво. Будто кто-то огромный перевернулся на другой бок.

– Что он взял? – спросила старуха. – Скажи. Он всегда что-то берёт.

Зоряна разлепила губы.

– Глаза, – прошептала она. – Мужа. Цвет.

Старуха кивнула.

– Немного. Повезло. Обычно больше берёт. – Она протянула руку. Ладонь у неё была жёсткая, мозолистая, с длинными, крепкими ногтями, почти когтями. – Вставай. Пойдём. Отогреешься. А потом расскажешь, куда шла. Хотя я и так знаю. Все вы туда идёте.

– Кто вы? – прохрипела Зоряна.

Старуха наклонилась к ней ближе. Жёлтые глаза оказались совсем рядом.

– Я тоже имя не называю, – сказала она. – Сорок лет как не называю. Уже и сама забыла. Зови бабкой. Или никак не зови. Мне всё одно.

Она взяла Зоряну за руку и рывком подняла на ноги.

Зоряна покачнулась, но устояла. Мокрая одежда облепила её ледяной коркой. Валенки хлюпали. Котомки на спине не было – утонула, сорвалась, когда её тащили. Она схватилась за пазуху. Шапка Велько была там. Мокрая, но там. И Ладушкина рубашонка, свёрнутая тугим комком, которую она ещё в Ивнягах переложила из Рогнединого свёртка к себе на грудь. Сало тоже. Мешочек соли размок. Она сунула руку в карман передника: дощечка, нить. На месте.

– Иди за мной, – сказала старуха. – Ступай след в след. Шаг в сторону – и опять к нему. Второй раз я тебя вытаскивать не стану.

Она повернулась и пошла по кочкам, вглубь болота, туда, где туман был ещё гуще. Шкуры на её спине покачивались, мёртвые волчьи головы смотрели назад пустыми глазницами.

Зоряна пошла за ней. След в след.

Позади, в тумане, кто-то тихо вздохнул, и вода сомкнулась с глухим плеском.

Она шла и пыталась вспомнить глаза Белогора. И не могла. Помнила его голос, его руки, его смех. Помнила, как он нёс её на руках через порог в первую ночь. Помнила, как держал новорождённого Велько, неловко, боясь уронить, и как смеялся от счастья. А глаз не помнила. Там, где они были, теперь было пусто.

Это было страшнее, чем вода. Страшнее, чем голос. Она шла за старухой и думала: а если бы он взял другое? Если бы взял, как пахнет Велько? Или считалку? Или истинное имя сына?

Она нащупала за пазухой шапку и сжала её так, что заболели пальцы.

Больше не отдам, подумала она. Ничего не отдам. Ни крупинки.

Землянка старухи стояла на острове посреди болота.

Остров был невелик – горб твёрдой земли, поросший старыми соснами, кривыми и низкими, будто их всю жизнь давило небо. Под соснами туман редел, и Зоряна увидела вход: чёрную дыру в склоне, прикрытую сверху накатом из жердей, обложенную дёрном. Над накатом торчала глиняная труба, и из неё шёл дым, жидкий, сизый. У входа валялись кости. Много костей, обглоданных дочиста, белых. Зоряна старалась не смотреть, чьи.

Внутри было тесно, низко и жарко. Старуха сунула её к очагу, сложенному из камней посреди земляного пола, и сорвала с неё тулуп, как сдирают шкуру с зайца. Потом понёву, рубахи. Зоряна не сопротивлялась. У неё не было сил. Она сидела у огня голая, обхватив колени, а старуха кидала на неё одну шкуру за другой, вонючие, жёсткие, тёплые, пока Зоряна не скрылась под ними целиком.

– Шапку оставь, – сказала она, когда старуха потянулась к мокрому комку у неё в руках.

Старуха замерла. Посмотрела на детскую шапку с ушами. Жёлтые глаза её сузились.

– Его?

Зоряна кивнула.

Старуха долго молчала. Потом отошла, села по ту сторону огня, на кучу лапника, и подтянула под себя ноги, как садится собака.

– Держи, – сказала она глухо. – Держи у тела. Пусть сохнет у тела, а не у огня. У огня запах уйдёт. А у тела – останется.

Она отвернулась и стала смотреть на огонь, и в отблесках её лицо казалось вырезанным из старого дерева. Зоряна прижала шапку к груди, под шкурами, к голой коже. Шапка была ледяная. Потом, понемногу, стала тёплой.

Глава 9. Рассказ старухи

Зоряна проспала, наверное, сутки. А может, двое.

Она просыпалась несколько раз, в темноте, в духоте, под тяжёлыми шкурами, и не понимала, где она. Видела красные отблески углей на земляных стенах, корни, свисающие с потолка, как волосы. Слышала, как кто-то ходит рядом, шаркая, и что-то бормочет. Чувствовала у губ край деревянной миски и тёплую воду, пахнущую травой. Пила. И снова проваливалась.

Однажды проснулась от того, что кто-то нюхал её волосы.

Старуха сидела над ней на корточках и, склонив голову, втягивала носом воздух у самой её макушки. Глаза у неё были закрыты. Лицо – странно мягкое, почти детское.

– Ты чего? – прошептала Зоряна.

Старуха открыла жёлтые глаза и отодвинулась.

– Ничего. Спи.

И Зоряна снова уснула.

Когда она проснулась окончательно, в землянке было светло. Насколько вообще может быть светло в земляной норе: в дымоход падал серый луч, и в нём плясали пылинки и дым. Её одежда висела на жердях у очага, сухая, задубевшая. Старухи не было.

Зоряна села. Голова кружилась, тело ломило, будто её били палками. Она ощупала себя. Шапка Велько была у неё на груди, под шкурами, тёплая и сухая. Рядом – Ладушкина рубашонка. Она поднесла шапку к лицу, вдохнула. Пахло. Слабо, но пахло. Корой. Им.

Она огляделась.

Землянка была больше, чем показалось сначала. Не одна нора, а три, соединённые низкими ходами, в которые надо было пролезать на четвереньках. В той, где лежала Зоряна, был очаг и лежанка из лапника. На стенах висели пучки трав – полынь, чабрец, багульник, ещё какие-то, которых она не знала. В углу лежала куча шкур. Волчьих. Зоряна насчитала их больше двадцати.

На лежанке рядом с ней стояла миска. В ней было что-то тёмное, похожее на варёное мясо.

Она посмотрела на миску и почувствовала, как сжимается живот, как рот наполняется слюной. Голод, притихший во сне, снова зашептал: «Ешь. Ешь. Это не лесное. Это старуха сварила. Старуха живая, человек, это человечья еда».

Зоряна отодвинула миску.

– Правильно, – сказала старуха.

Она стояла в низком проёме, согнувшись, и держала в руках охапку хвороста. Зоряна не слышала, как она вошла.

– Правильно, – повторила старуха, проходя к очагу и бросая хворост рядом. – Не ешь. Это заяц. Лесной. Я его сама поймала, сама сварила, но он лесной. Съешь – и станешь как я.

Она повернулась к Зоряне лицом, и в сером свете из дымохода её глаза казались ещё желтее.

– Как ты? – спросила Зоряна.

Старуха присела у очага, подбросила веток в угли, подула. Огонь взялся.

– Знаешь, кто я? – спросила она, не оборачиваясь.

Зоряна помолчала. Она думала об этом в те редкие мгновения, когда просыпалась, думала во сне. Сорок лет не называю имя, сказала старуха. Сорок лет.

– Видана, – сказала она тихо. – Ершова.

Старуха вздрогнула. Плечи её поднялись под шкурами и замерли.

– Не надо, – сказала она глухо. – Не называй.

– Прости.

– Не надо. – Старуха помолчала. – Это не истинное, это мирское. Мирское можно. Только мне от него… Я от него отвыкла. Сорок лет никто не звал. Меня так мать звала. И муж. И дочка не звала, она звала «мама». Когда ты сказала, я… – Она замолчала, покачала головой. – Ладно. Видана так Видана. Ты мне своё не говори. Мирское тоже не говори. Тут и мирское опасно, если не к добру услышат.

– Хорошо.

– Красильщица, – сказала Видана. – Буду звать красильщицей. Ты не против?

– Нет.

Видана кивнула и замолчала. Огонь в очаге разгорался, потрескивая. Зоряна смотрела на её спину, сгорбленную, покрытую шкурами, и вспоминала, что говорила Агриппина. «У Виданы такие же глаза». Только Агриппина видела её сорок лет назад, молодую, с глазами обычными, человеческими. Не такими.

– Ты за дочкой пошла, – сказала Зоряна. – Через пять лет.

– Через пять, – согласилась Видана. – Пять лет у окна сидела. Как дура. Ждала, что сама придёт. Обещала ведь. Они все обещают, ты знаешь? Каждый. «Мама, я вернусь». Никто не возвращается. Не потому, что не хотят. Потому что не помнят.

– Не помнят?

Видана повернулась к ней. Посмотрела долго, тяжело.

– Ты ничего не знаешь, – сказала она. – Ничего. Пошла в лес и ничего не знаешь. Как я. Я тоже ничего не знала. Ладно. Слушай. Только сначала оденься. Негоже голой.

Зоряна оделась. Одежда была жёсткая, пахла дымом, но сухая и тёплая. Видана сидела у огня и ждала, глядя в пламя. Потом, когда Зоряна села напротив, начала говорить.

Пока она молчала, Зоряна разглядела над её лежанкой, на вбитом в земляную стену колышке, маленький веночек. Он был сплетён из сухих васильков и давно истлел, рассыпался, от васильков остались только серые стебельки и несколько синих лепестков, чудом уцелевших. Веночек висел так, как вешают в избе самое дорогое – на виду, на свету, над изголовьем. Детский веночек. На маленькую голову.

Говорила она странно. Не так, как говорят люди. Обрывисто, короткими кусками, с долгими паузами, будто каждое слово ей приходилось вспоминать, вытаскивать из глубины, как ведро из колодца. Иногда замолкала посреди фразы и сидела, глядя в огонь, и Зоряне казалось, что она забыла, о чём говорила. Но потом продолжала.

– Их не едят, – сказала Видана. – Это первое. Это ты знай. Их не едят. Никогда. Ни одного. За двести лет – ни одного.

Зоряна закрыла глаза. Что-то, что сидело в ней с той минуты, как Тишка Гончаров сказал Велько про волков, что-то тяжёлое, как камень, сдвинулось и отвалилось.

– Что с ними делают?

– Ничего с ними не делают. Они сами. – Видана поворошила угли. – Их приводят в логово. К серым. И они там живут. С серыми. Как щенки в помёте. Их кормят, греют. Они спят с волками, в куче, в тепле. Играют. Им не страшно, понимаешь? Почти никому не страшно. Страшно только первые ночи. Потом – нет.

– А потом?

– А потом перелинка.

Она сказала это слово так, как говорят о болезни. Или о смерти.

– Это как у зверей, когда шерсть меняют, – продолжала она. – Весной старая шерсть лезет, новая растёт. Вот так. Только у них не шерсть. У них всё. Сначала глаза. Потом слух. Потом нюх. Потом зубы. Потом… потом всё остальное. Три полнолуния. Первое – и у них глаза меняются. Становятся как у меня. Второе – они перестают говорить. Человечьи слова забывают. Только воют. Третье – и всё. Шерсть, когти, хвост. Волк. Волчонок. Десятинник.

– Десятинник, – повторила Зоряна.

– Так их Мать зовёт. Десятинники. Серые – это обычные волки, лесные. А десятинники – это они. Наши. Они крупнее. Сильнее. Умнее. У них глаза человечьи. Даже когда всё остальное волчье, глаза остаются. Серые глаза, карие, голубые. Какие у кого были.

Белый волк с человеческими глазами, подумала Зоряна. Серыми, как у отца Рогнеды.

– Зачем? – спросила она. – Зачем это всё? Зачем им нужны наши дети? Волков в лесу и так полно.

– Рубеж, – сказала Видана.

– Что?

– Рубеж. Граница. – Старуха подняла узловатый палец и ткнула куда-то в стену землянки, на север. – Там Сухая падь. Ты слышала?

– Слышала.

– Ничего ты не слышала. Там Сухота живёт. Ты её уже встретила, я по тебе видела. Она тебя у ручья звала. И в болоте она же, только по-другому. Она везде, где вода стоит, где течёт, где мёртвое лежит. Ей всё равно, через что. Она пить хочет. Всегда. Она всё выпивает. Воду, память, голос, жизнь. Деревню выпьет и дальше пойдёт. Край выпьет и дальше. До моря. До края земли. Если её не держать.

Зоряна вспомнила Сосновку. Серый бурьян. Печные трубы. Тишину, в которой слышно было только собственное сердце.

– Кто держит?

– Они. – Видана посмотрела на неё в упор. – Десятинники. Наши дети. Они стоят на рубеже, между лесом и Сухой падью. День и ночь. Двести лет. Сухота боится их. Не серых, не простых волков – их. Потому что в них человечье осталось. Глаза. Память. Сухота хочет выпить человечье, а они не дают. Они её грызут. Гонят назад. Умирают, но гонят.

– Умирают, – прошептала Зоряна.

– Умирают. Каждый год сколько-то. Потому и десятина каждый год. Чтобы новые приходили взамен.

Огонь трещал. Где-то за стенами землянки, далеко на болоте, крикнула птица, и крик её был похож на смех.

– А Мать? – спросила Зоряна. – Ты сказала: так их Мать зовёт.

Видана долго молчала.

– Волчья Мать, – сказала она наконец. – Хозяйка леса. Это с ней договор. Ты же знаешь про договор.

– Знаю. Основатели с лесом договорились.

– С ней. – Видана кивнула. – Она старая. Старше леса. Старше всего. Она белая, огромная. Я её один раз видела. Один раз. Больше не хочу.

– Где она?

– В сердце леса. За рубежом. Между нашим лесом и Сухой падью. Там её логово. Она там лежит и держит. Не только волки держат – она держит. Она как… как плотина на реке. Волки – это камни в плотине. А она – сама плотина. Понимаешь?

Зоряна кивнула, хотя понимала с трудом.

– Ты сказала, их можно вернуть, – сказала она. – Ты так не говорила, но я поняла. Три полнолуния. До третьего – их можно вернуть. Так?

Видана подняла на неё жёлтые глаза, и в них мелькнуло что-то. Боль? Зависть? Злость?

– Можно, – сказала она. – Говорят, что можно. Я не видела, чтобы кто-то вернул. Но говорят.

– Как?

– Истинное имя, – сказала Видана. – Ты знаешь его истинное имя? Ты ему шептала?

– Шептала.

– Помнишь?

– Помню.

– Хорошо. – Видана кивнула. – Надо дойти до Матери. Надо встать перед ней. Надо назвать его истинное имя. Тогда он вспомнит, кто он. Тогда перелинка остановится. Но этого мало.

– Что ещё?

– Цена. – Старуха сжала свои узловатые пальцы. – Равная цена. Мать отдаст – если ты отдашь. Что-то равное. Она скажет что. Я не знаю что. Я не дошла.

– Почему?

Видана молчала долго. Так долго, что Зоряна решила, что она не ответит.

– Пять лет, – сказала наконец старуха. – Пять лет. Пятьдесят полнолуний. Даже больше. Когда я пришла, моя Ясна уже давно была волчицей. Совсем. Я нашла логово. Я нашла их. Я её узнала. Глаза. Карие, как у отца. И я её звала. Истинным именем. Вслух. И она подошла.

Голос у Виданы сорвался. Она закашлялась, сухо, хрипло, по-звериному.

– Подошла, – повторила она. – Обнюхала меня. Как тебя белый у камня обнюхивал. И я видела, что она что-то помнит. Глаза – помнят. А всё остальное – нет. Она постояла и отошла. И ушла к своим. Она была счастлива, красильщица. Ты понимаешь? Ей было хорошо. Она была сильная, быстрая, свободная. У неё была стая. А я – чужая. Я – запах из прошлого. Как дым. Понюхала и забыла.

Зоряна молчала. У неё перехватило горло.

– Я осталась, – сказала Видана. – Не могла уйти. Думала, может, она когда-нибудь… Ну, вспомнит. Подойдёт. Я построила эту нору. Ходила к логову, смотрела издали. Она меня не гнала. Они меня не трогали, серые. Привыкли. А потом пришла зима, голодная, страшная. Мне нечего было есть. Я держалась, держалась. А потом съела зайца. Лесного. Одного. И глаза стали как у них.

Она подняла лицо к свету из дымохода, будто показывая.

– А потом ещё одного. И ещё. Сорок лет, красильщица. Сорок лет лесной еды. Я уже наполовину их. Я вою по ночам. Я чую кровь за версту. Я понимаю, что они говорят. А моя Ясна… Ясна погибла на рубеже двадцать лет назад. Её Сухота выпила. Я слышала, как она кричала. Я была там. Я не смогла ничего сделать.

Она замолчала.

Зоряна сидела, глядя на огонь, и слёзы текли у неё по щекам. Она не вытирала их.

– Прости, – прошептала она.

– За что? – Видана пожала плечами. – Не ты её отдала. Не ты съела зайца. Не ты опоздала. Я. Всё я.

Она встала, кряхтя, подошла к выходу, откинула шкуру, служившую дверью. Снаружи был туман, серый, неподвижный.

– Сколько ночей прошло, как твоего отдали? – спросила она, не оборачиваясь.

Зоряна задумалась. Три дня, пока рубашку не сожгли. Потом ещё четыре, пока собиралась, пока Рогнеда баню не протопила. Потом лес. Ручей. Ночь у дуба. Болото. Здесь – сутки, может, двое.

– Двенадцать, – сказала она. – Может, тринадцать.

Видана повернулась. Посмотрела на небо, хотя в тумане неба не было видно.

– Полнолуние через пять ночей, – сказала она. – Первое. Глаза.

Зоряна вскочила.

– Где логово?

– Сядь.

– Где?

– Сядь, дура! – рявкнула Видана, и в её голосе прорезался рык, настоящий, звериный. Зоряна отшатнулась и села. – Сядь. Слушай. Первое полнолуние – это глаза. Это не страшно.

Это ничего. Глаза у него поменяются, но он будет всё помнить, говорить, знать тебя. До второго полнолуния ещё месяц. До третьего – два. У тебя есть время. Немного, но есть. А если ты сейчас побежишь, как дура, без еды, без соли, без ума, ты до логова не дойдёшь. Сухота тебя выпьет в первую же ночь. Или серые порвут. Они не все такие ласковые, как десятинники. Понимаешь?

Зоряна кивнула. Губы у неё дрожали.

– Хорошо, – сказала Видана, смягчаясь. – Хорошо. Посиди. Я тебе дам еды. Не лесной. У меня есть. Немного. Я берегу. Сорок лет берегу.

Она полезла в дальний угол землянки, порылась под шкурами и вытащила маленький берестяной туесок, закрытый плотной крышкой. Открыла. Внутри было зерно. Рожь. Сухая, золотистая, отборная.

– Из дома, – сказала Видана тихо. – Я взяла, когда уходила. Мешочек. Сорок лет – по горсти в год. На праздник. Когда Ясну поминаю. Тут на десять лет ещё осталось. Тебе дам на дорогу. Сколько надо.

Зоряна смотрела на это зерно, на эти сухие золотистые крупинки в старой бересте, и не могла говорить.

– Возьми, – сказала Видана и протянула туесок. – Возьми, красильщица. Ты ещё можешь успеть. Я – нет. А ты – можешь.

Зоряна взяла туесок обеими руками. Он был лёгкий, почти невесомый.

Она взяла из туеска щепоть – самую малость, десяток зёрен – и положила в рот. Зёрна были твёрдые, как камешки. Она держала их на языке, пока они не размякли, а потом стала медленно жевать. Рожь была сладковатая, пахла сухим полем, гумном, летом. Ивнягами. Домом. Зоряна жевала, и с каждой крупинкой голод, шептавший ей в лесу, отступал, съёживался, замолкал. Как будто эта горсть зерна, сбережённая чужой матерью сорок лет назад, сказала ему: ты здесь не хозяин.

Видана смотрела на неё через огонь, и лицо её было неподвижно. Только ноздри чуть раздувались, ловя запах.

– Ты меня отведёшь? – спросила Зоряна. – К логову?

Видана помолчала.

– Отведу, – сказала она. – Только сначала дождёмся того, кто за тобой идёт.

– Кто за мной идёт?

Старуха усмехнулась, оскалив жёлтые, крепкие зубы.

– Мужик. С самострелом. Третий день по твоему следу. Я его слышала ещё до болота. Чую. От него железом пахнет. И страхом. И ещё чем-то. – Она втянула воздух, раздувая ноздри. – Чем-то знакомым. Не пойму пока. Он к гати вышел вчера вечером. Стоял на краю, думал. Не пошёл. Умный. Сегодня пойдёт. Или завтра.

Зоряна похолодела.

– Дорофей, – прошептала она.

– Не знаю, как его звать. И ты мне не говори. – Видана посмотрела на неё. – Тебе его бояться?

– Не знаю. Радогост его послал.

– Радогост. – Видана сплюнула в огонь. Огонь зашипел. – Радогостов дед моей Ясне руку на голову клал. Не десятник. Староста. Сам. Положил руку и сказал Селивановому отцу: эту. И десятник сказал: десять. Я видела. Я тогда не поняла. Я потом поняла. Здесь. За сорок лет многое поймёшь.

Зоряна смотрела на неё, и всё внутри у неё стало холодным и твёрдым, как лёд на Осинке в лютый мороз.

– Счёт неверен, – сказала она.

– Неверен, – согласилась Видана. – Всегда был неверен. Двести лет.

Глава 10. Охотник

Дорофей вышел на гать на рассвете.

Зоряна этого не видела. Она узнала потом, от Виданы, которая слышала его ещё издали, со своего острова, сквозь туман и сквозь сон. Старуха проснулась затемно, села на лежанке, повела носом и сказала: идёт. Взяла свой багор и ушла, не дожидаясь, пока Зоряна проснётся окончательно.

Зоряна догнала её на краю острова, у старой кривой сосны, откуда начиналась невидимая в тумане тропа по кочкам. Видана стояла неподвижно, пригнувшись, и шкуры на ней не шевелились. Жёлтые глаза смотрели в туман.

– Тихо, – прошептала она, не оборачиваясь. – Слушай.

Зоряна прислушалась. Сначала ничего. Туман, тишина, мокрый холод. Потом – далеко, на гати – стук. Мерный, глухой. Тук. Тишина. Тук. Тишина.

– Жердью бьёт, – прошептала Видана. – Проверяет каждое бревно. Умный. Не то что ты.

– Он пройдёт?

– Может. А может, нет. Он уже полдороги прошёл. Слышишь, тихо стало?

Стук прекратился. Наступила тишина, долгая, тяжёлая. Зоряна затаила дыхание. Потом из тумана донёсся голос – мужской, хриплый, сдавленный:

– Нет. Не дам. Пошёл прочь.

И снова тишина. А потом плеск. И сдавленный крик. И опять плеск, громче, тяжелее. Будто кто-то большой бьётся в воде.

Видана сорвалась с места.

Она не побежала, а покатилась по кочкам, низко, на полусогнутых, как бегает старый волк, и Зоряна едва успевала за ней, перепрыгивая с кочки на кочку, проваливаясь по щиколотку в ледяную жижу. Туман бил в лицо, мокрый, слепой. Впереди плеск становился громче. Потом Видана остановилась так резко, что Зоряна налетела на неё.

Перед ними, в десяти шагах, была гать. И на гати, на бревне, лежал на животе человек, вцепившись обеими руками в сучья, а нижняя половина его тела была в воде. Чёрная вода вокруг него кипела, будто под ней ворочался огромный зверь. Человек держался. Зоряна видела, как напряжены его плечи, как побелели пальцы на сучьях. Но его медленно, неумолимо тянуло вниз.

– Отдай, – булькал голос из-под воды. – Отдай, охотник. Одно. Одно воспоминание. Ты же много помнишь. Ты слишком много помнишь. Тебе тяжело. Отдай, станет легче.

– Пошёл… прочь…

Видана выбросила вперёд багор.

Крюк зацепил Дорофея за ремень самострела, перекинутого через спину. Видана упёрлась ногами в кочку, откинулась назад всем телом и потянула. Зоряна бросилась к ней, схватилась за древко рядом с её руками. Они тянули вдвоём, и багор гнулся, и ремень трещал, и под водой что-то тянуло в другую сторону.

– Отдай! – завыл голос. – Хоть её! Хоть её отдай! Ты же сам хочешь забыть! Ты же каждую ночь хочешь забыть!

Дорофей закричал. Не от боли – от ярости. Рванулся вперёд, по бревну, к ним, к багру, и вода отпустила его с чмокающим звуком, как отпускает трясина валенок. Он выкатился на кочку, к их ногам, и лежал, хрипя, весь чёрный от болотной жижи, с перекошенным лицом.

Видана отпустила багор и отступила на шаг.

Зоряна стояла над ним, тяжело дыша.

Дорофей приподнялся на локтях. Посмотрел на неё снизу вверх. Глаза у него были красные, бешеные.

– Жива, – сказал он хрипло. – Жива. Ну, слава…

Он не договорил, закашлялся, и его вырвало чёрной водой.

Зоряна выхватила нож.

Она сама не знала, как это вышло. Рука сама нашла рукоять, сама выдернула нож из ножен, и вот она уже стоит над ним на коленях, и лезвие её отцовского ножа прижато к его горлу, к заросшему щетиной кадыку. Дорофей замер.

– Зачем пришёл? – спросила она. Голос был чужой, низкий, хриплый.

Он смотрел на неё, не мигая.

– За тобой.

– Зачем?

– Радогост послал.

– Вернуть?

– Вернуть.

– А если не пойду?

Он помолчал. Кадык его дёрнулся под лезвием.

– Тогда чтобы не вернулась, – сказал он. – Так он сказал.

Видана за её спиной зашипела, как рассерженная рысь.

– Убить меня, – сказала Зоряна.

– Да.

– И ты пошёл.

– Пошёл.

– Чтобы убить.

– Нет.

– Врёшь!

Нож дрогнул в её руке, и на коже Дорофея выступила красная капля. Он не шевельнулся.

– Не вру, – сказал он тихо. – Режь, если хочешь. Твоё право. Я тебя держал у камня. Я тебя в избе стерёг. Я тебя по следу три дня гнал. Режь. Только сначала послушай.

– Не хочу я тебя слушать!

– Тогда режь.

Он смотрел на неё спокойно. Совсем спокойно. Так смотрят люди, которым уже всё равно. Зоряна держала нож у его горла и видела, как красная капля стекает по его шее, за ворот, и думала: вот сейчас. Одно движение. Как курице, как поросёнку на Коляду. Она сто раз видела, как это делается. Он держал её, пока Твердята нёс её сына к камню.

Он подобрал шапку.

Он вырезал свистульку.

Она не могла.

– Пусти его, – сказала Видана.

Зоряна не обернулась.

– Пусти его, красильщица. – Старуха подошла ближе, и Зоряна услышала, как она нюхает воздух, шумно, глубоко. – Пусти. Я поняла, чем он пахнет.

– Чем?

– Мной.

Зоряна обернулась.

Видана стояла над ними, сгорбленная, в волчьих шкурах, с багром в руке, и смотрела на Дорофея. Лицо её было странное. Не звериное, не старушечье. Растерянное. Как у ребёнка, который нашёл в лесу что-то, чего не ожидал.

– Ершовым, – сказала она. – Ершовым пахнешь. Ершовой кровью. Как муж мой пах. Как Ясна. Ты чей?

Дорофей смотрел на неё. Медленно, очень медленно поднял руку и отвёл от своего горла нож Зоряны. Зоряна не сопротивлялась. Он сел, тяжело, на мокрую кочку.

– Я Ершов, – сказал он. – Дорофей Ершов. Тётка растила. Тётка Негода, отцова сестра. Отец помер, когда мне два года было. А мать… – Он замолчал. – Мать в лес ушла. Когда мне полгода было. За сестрой. Сестру мою отдали в десятину, за пять лет до того, как я родился. Я её никогда не видел.

Он поднял глаза на Видану.

Видана стояла неподвижно. Багор выпал у неё из руки и упал на кочку с глухим стуком.

– Полгода, – сказала она. Голос у неё дрожал. – Полгода тебе было. Ты в люльке лежал. Я тебя покормила, положила, укрыла. И ушла. Ночью. Ты спал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.